

Владислав Шпильман

ПЯНИСТ

Варшавские десятилетия 1939-1945

Это книга воспоминаний известного польского музыканта и композитора Владислава Шпильмана о жизни в оккупированной немцами Варшаве в период с 1939 по 1945 год. Вся семья его родители, две сестры и брат погибли от рук немецких оккупантов.

Автора спасли от смерти сначала еврейский полицейский, сгонявший обитателей гетто для отправки в Трешлинку, потом поляка Хелена Левицкая и, к концу войны капитан немецкой армии Вильм Хозенфельд.

Известный кинорежиссер Роман Полански снял фильм по книге Пианист, как ранее это хотел сделать Анджей Вайда.

- [Владислав ШПИЛЬМАН](#)
 -
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [ВСТУПЛЕНИЕ](#)
 - [1 ВОЙНА!](#)
 - [2 ПЕРВЫЕ НЕМЦЫ](#)
 - [3 ПОКЛОНЫ ОТЦА](#)
 - [4 ГЕТТО](#)
 - [5 ТАНЦЫ НА УЛИЦЕ ХЛОДНОЙ](#)
 - [6 ПОРА ДЕТЕЙ И СУМАСШЕДШИХ](#)
 - [7 ЖЕСТ ГОСПОЖИ К](#)
 - [8 РАСТРЕВОЖЕННЫЙ МУРАВЕЙНИК](#)
 - [9 UMSCHLAGPLATZ](#)
 - [10 ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ](#)
 - [11 ЭЙ, СТРЕЛКИ, ВПЕРЕД!..](#)
 - [12 МАЙОРЕК](#)
 - [13 ССОРЫ ЗА СТЕНОЙ](#)
 - [14 МОШЕННИЧЕСТВО ШАЛАСА](#)
 - [15 В ГОРЯЩЕМ ДОМЕ](#)
 - [16 СМЕРТЬ ГОРОДА](#)
 - [17 ЖИЗНЬ ЗА СПИРТ](#)
 - [18 НОКТЮРН ДОДИЕЗ МИНОР](#)
 - [POSTSCRIPTUM](#)
 - [ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКА КАПИТАНА ВИЛЬМА ХОЗЕНФЕЛЬДА](#)
 -
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Благодарим Вас за использование нашей библиотеки Librs.net.

Владислав ШПИЛЬМАН

ПИАНИСТ

Варшавские дневники 1939-1945

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это книга воспоминаний известного польского музыканта и композитора Владислава Шпильмана о жизни в оккупированной немцами Варшаве в период с 1939 по 1945 год. Вся семья его родители, две сестры и брат погибли от рук немецких оккупантов.

Автора спасли от смерти сначала еврейский полицейский, сгонявший обитателей гетто для отправки в Трешлинку, потом поляка Хелена Левицкая и, к концу войны капитан немецкой армии Вильм Хозенфельд.

После освобождения Варшавы Владислав Шпильман долгое время находился в стрессовом состоянии не оставляло чувство вины перед погибшими близкими. Чтобы не сойти с ума, он, по совету друзей, написал книгу воспоминаний о пережитом. Написана она была вскоре после окончания войны и издана, в литературной обработке Ежи Вальдорффа, в Польше в 1946 году под названием Гибель города. В книге нет заданных идей и национальных стереотипов, лишь люди немцы, поляки, евреи, украинцы и литовцы и их поступки.

Владислав Шпильман вернулся к деятельности музыканта. Продолжал выступать с концертами. Руководил музыкальной редакцией Польского радио. Был одним из создателей знаменитого Варшавского квинтета, с которым объездил многие страны, был инициатором организации популярного музыкального фестиваля в Сопоте.

Второе издание книги под названием Пианист, вышло в Германии в 1998 году, на следующий год в США. С тех пор книга была переведена на восемь языков.

Не только в Польше, но и во всем мире от Испании до Японии книга вызвала лавину откликов и попала в список бестселлеров *The Economist*, *The Guardian*, *The Sunday Times* и др. Газета *Los Angeles Times* в 1999 году присудила ей титул лучшей книги года в категории литература факта.

Навсегда врезаются в память не только сцены расправ и транспорты в Трешлинку, но и живые лица участников трагедии, намеченные иногда двумя-тремя штрихами, детали быта, подробности человеческих отношений. Газета *The Independent On Sunday* (от 28.03.99) написала: Иногда за всю свою жизнь не узнаешь столько о человеческой природе, сколько из этой тонкой книги.

Известный кинорежиссер Роман Полански снял фильм по книге Пианист, как ранее это хотел сделать Анджей Вайда.

В 2002 году фильм Пианист был удостоен Золотой пальмовой ветви высшей награды 55-ого Каннского Международного фестиваля. В 2003г. фильм получил трех Оскаров: за лучшие режиссуру (Роман Полански), сценарий (Рональд Нарвуд). и мужскую роль (Адриен Броди).

В качестве приложения к книге приведены отрывки из военного дневника капитана немецкой армии Вильма Хозенфельда одного из спасителей В. Шпильмана от гибели в разрушенной Варшаве.

ВСТУПЛЕНИЕ

Мой отец до последнего времени избегал разговоров о том, что ему пришлось пережить во время войны, но все равно его прошлое вошло в мою жизнь, едва мне исполнилось двенадцать лет, когда я нашел в домашней библиотеке эту книгу. Из нее я узнал, почему у меня нет бабушки и дедушки со стороны отца и почему в нашем доме никогда об этом не говорят. Найденный дневник открыл для меня ту часть истории нашей семьи, о которой я не имел никакого представления и мы по-прежнему обходим ее молчанием. Наверное, именно поэтому я не сразу понял, что пережитое отцом может представлять интерес и для других людей. В том, что эту книгу надо издать, меня убедил мой друг немецкий поэт Вольф Бирман, который был уверен в ее исключительной документальной ценности.

Живя в Германии, я уже в течение многих лет наблюдаю то состояние болезненного умолчания, которое установилось между евреями, немцами и поляками. Я надеюсь, что эта книга будет способствовать заживлению все еще открытых ран.

Мой отец, Владислав Шпильман, не писатель. Он пианист, композитор и деятельный участник культурной жизни. Кто-то сказал о нем, что это человек, в котором живет музыка.

Он закончил Берлинскую музыкальную академию: класс фортепиано Артура Шнабеля и класс композиции Франца Шрекера.

В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, отец вернулся в Варшаву и стал работать пианистом на Польском радио. До 1939 года занимался сочинением симфонической музыки, музыки к фильмам и песен, многие из которых сразу становились шлягерами. Перед самой войной он выступал с концертами вместе с такими всемирно известными скрипачами, как Бронислав Гимпель, Генрик Шеринг, Ида Хендель и Роман Тотенберг.

После 1945 года он продолжал выступать как пианист-исполнитель камерной музыки. Написал новые симфонические произведения, а также около тысячи песен. Среди них Дождь, Этих лет никто не вернет, Нет счастья без любви, Не верю песне, Красный автобус, Тихая ночь, Время придет, Завтра будет хороший день.

Он сочинил более пятидесяти песен для детей, музыку ко многим радиопостановкам и фильмам, а также всем известные позывные Польской кинохроники.

В то время отец входил в руководство Союза польских композиторов, а также Объединения поэтов и композиторов, пишущих для театра и кино, возродил Объединение авторов и композиторов эстрадной песни. Он был инициатором проведения и одним из организаторов международного песенного фестиваля в Сопоте.

До 1960 года мой отец руководил редакцией легкой музыки на Польском радио. Он оставил эту работу, чтобы полностью посвятить себя концертной деятельности. Вместе с Брониславом Гимпелем и Тадеушем Вронским они создали Варшавский квинтет и объездили весь мир, дав более двух тысяч концертов.

Отец написал свои воспоминания сразу после войны, в 1945 году. Первое издание книги вышло в 1946 году. Оно, как мне кажется, сыграло свою роль, потому что помогло отцу освободиться от военного кошмара и вернуться к нормальной жизни.

В начале 60-х разные издательства предпринимали попытки сделать эту книгу доступной для новых поколений читателей. По неизвестным, а точнее сказать, хорошо известным причинам они не увенчались успехом. Наверняка у тех, кто принимал решение, были на то свои основания.

Дневники отца вновь увидели свет через пятьдесят с лишним лет первоначально в Германии. Там они сразу были восприняты как одно из важнейших свидетельств минувшей

войны. Серьезный немецкий журнал Der Spiegel посвятил им восемь страниц. В 1999 году они были изданы в Англии, Нидерландах, Италии, Швеции, Японии и Соединенных Штатах. Они вошли в списки лучших книг 1999 года таких газет, как Los Angeles Times, The Times, The Economist, The Guardian.

Помещенные в этом издании отрывки из дневника капитана вермахта Вильма Хозенфельда никого не могут оставить равнодушным. Они придают книге новое качество, опровергая распространенное в Германии убеждение, что немецкое общество ничего не знало о преступлениях, совершаемых гитлеровской армией на территории Польши и других оккупированных стран; в то же время героические поступки этого немца свидетельствуют о том, что возможность противостояния нацистскому режиму все же была.

Включая этот фрагмент в представленное издание, я руководствовался желанием, а скорее моральным долгом сохранить память о Вильме Хозенфельде.

Анджей Шпильман

Март 2000г.

1 ВОЙНА!

31 августа 1939 года в Варшаве почти никто уже не питал иллюзий, что войны с немцами удастся избежать, и только неисправимые оптимисты надеялись, что непримиримая позиция Польши способна устроить Гитлера. Их оптимизм был проявлением оппортунизма, этим людям просто хотелось верить, вопреки всякой логике, что войны можно избежать и жить по-прежнему, спокойно ведь жизнь так прекрасна.

По вечерам из-за тщательной светомаскировки город погружался во тьму. В домах на случай газовой атаки специально готовили комнаты, где заделывали все щели. Газовых атак опасались больше всего.

А в это время за затемненными окнами кафе и баров играли оркестры, посетители танцевали, пили и браво распевали патриотические песни, поддерживая свой боевой дух.

Светомаскировка, противогаз на плече, ночные возвращения домой на такси по изменившим свой облик улицам придавали жизни особую прелесть, тем более что никакой угрозы еще не чувствовалось.

В то время я был пианистом на Польском радио и жил на улице Слизкой вместе с родителями, братом и сестрами. В тот августовский день я вернулся домой поздно, усталый и сразу же лег спать. Наша квартира располагалась на четвертом этаже, что имело свои преимущества: пыль и уличные запахи опускались вниз, а сверху в открытые окна врвался свежий воздух с Вислы.

Проснулся я от звуков взрывов. Светало. Я посмотрел на часы: было около шести. Эхо взрывов было не слишком сильным и, казалось, доносилось откуда-то издалека. Во всяком случае, не из города. Наверное, это были военные учения, к которым за последнее время все успели привыкнуть. Через несколько минут наступила тишина. Я подумал, не заснуть ли мне опять, но было уже слишком светло. И я решил почитать до завтрака.

Наверное, было уже около восьми часов, когда дверь в мою комнату внезапно отворилась. На пороге стояла мать, одетая для выхода в город. Она была бледнее обычного и, застав меня в постели, не могла скрыть своего возмущения. Мать хотела было что-то сказать, но голос ее не послушался; она глубоко вздохнула и, наконец, нервно и быстро произнесла:

Вставай, началась война!

Я решил немедленно пойти на Радио. Там увижу друзей и узнаю последние новости.

Одевшись и позавтракав, вышел из квартиры. На стенах домов и афишных тумбах уже были расклеены большие белые листы с обращением президента к народу, где он сообщал о нападении Германии на Польшу. Люди стояли небольшими группами и читали, другие в сильном возбуждении бежали, видимо желая в последнюю минуту уладить самые неотложные дела. В магазине на углу, недалеко от нашего дома, хозяйка клеила на окна полоски белой бумаги, что должно было уберечь стекла в случае неизбежных бомбежек. Ее дочь в это время украшала тарелки с салатом, ветчиной и колбасой флажками и маленькими портретами национальных героев.

По улицам без усталости сновали продавцы газет, предлагая специальные выпуски. Никакой паники не ощущалось. Настроения колебались между любопытством что будет дальше и удивлением, что дело приняло такой оборот.

Перед одной из тумб остановился седой господин, свежесбрившийся, тщательно и элегантно одетый. Лицо и даже шея у него покраснели от волнения. Шляпа сбилась на затылок, чего в нормальной ситуации он явно никогда бы не допустил. Прочитав, он недоверчиво повертел головой и начал читать сначала, все глубже насаживая очки на нос. Некоторые слова он с

негодованием повторял вслух:

Напали Без объявления войны Оглянувшись на окружающих, чтобы увидеть их реакцию, он поправил очки и воскликнул: Ведь это нечестно!

Он никак не мог успокоиться и, уже отойдя, все бормотал себе под нос, пожимая плечами: Нет. Так не делают

Дойти до Радио, несмотря на то что я жил совсем рядом, оказалось делом нелегким. Это отняло у меня в два раза больше времени, чем обычно. Я преодолел уже почти половину пути, когда из громкоговорителей, установленных на фонарных столбах, над входами в магазины и в окнах домов, раздался звук воздушной тревоги. Потом послышался голос диктора: В Варшаве воздушная тревога! Внимание, внимание, начинается После чего следовала серия цифр и букв военного шифра, которые для людей невоенных звучали как таинственное заклинание. Может быть, цифры обозначали число летящих самолетов? А буквы места, куда сейчас должны упасть бомбы? Наверное, среди них есть и то, где мы как раз сейчас стоим?

Улица быстро пустела. Испуганные женщины спешили в подвалы, мужчины, не желая прятаться и демонстрируя свою смелость, стояли в подворотнях, проклиная немцев и ругая правительство, которое бездарно и с большим опозданием провело всеобщую мобилизацию. По безлюдным, будто вымершим улицам разносились крики это участники отрядов противовоздушной обороны вразумляли тех, кто по одним им ведомым причинам выходил из домов и пытался передвигаться по улице. Потом послышались разрывы бомб, но и на этот раз не слишком близко.

Я уже подходил к зданию Радио, когда снова объявили воздушную тревогу, уже третий раз за время моего пути. Но сотрудники на Радио были не в состоянии каждый раз спускаться в бомбоубежище.

Программа радиопередач была совершенно скомкана, а когда ее наконец удавалось кое-как восстановить, эфир все равно каждый раз прерывали, чтобы передать только что поступившие важные известия с фронта или политические новости, перемежая их военными маршами или национальным гимном. В коридорах редакций царил хаос. Чувствовалось, что люди все больше поддаются общему боевому настрою.

Один из сотрудников, получивший повестку в армию, пришел попрощаться с коллегами, а заодно продемонстрировать свой новый мундир. Скорее всего, он воображал, что все сбегутся и устроят ему трогательные проводы. Но его ждало разочарование: всем было не до него. Он стоял один, пытаясь остановить кого-нибудь из проходивших мимо сотрудников, чтобы хотя бы отчасти реализовать свой сценарий прощания с гражданской жизнью потом будет что рассказать внукам. Мог ли он подумать, что две недели спустя ни у кого так и не найдется времени, чтобы почтить своим присутствием его похороны.

Возле студии меня схватил за рукав старый заслуженный работник Радио, пианист, профессор Урштейн. Он уже давно измерял время музыкальными произведениями, как другие люди измеряют его часами и днями. Если профессор хотел что-нибудь вспомнить, он всегда начинал так Тогда я играл и когда ему удавалось таким образом сориентироваться во времени, он мог позволить своей памяти парить дальше, чтобы вспомнить что-нибудь еще, уже менее существенное или более далекое.

Теперь он стоял у дверей студии, оглушенный и сбитый с толку: что это за война без музыкального сопровождения?

Никто не смог мне сказать, пожаловался он беспомощно, буду ли я сегодня работать

После обеда выяснилось, что работать мы будем, каждый за своим роялем. Музыкальные передачи правда, не в том порядке, как было запланировано, собирались передавать в эфир.

Тем временем наступило время обеда, кое-кто из сотрудников уже проголодался. Мы вышли

из здания Радио, чтобы перекусить в ближайшем ресторанчике.

Город выглядел так, словно ничего не случилось. Оживленное движение на главных улицах не прекращалось. Магазины были открыты, а поскольку президент призывал население не делать продовольственных запасов, с его точки зрения излишних, никто не толпился в очередях. Уличные продавцы бойко торговали бумажной игрушкой свиньей, сложенной из листа бумаги: если ее развернуть, она превращалась в нечто, напоминающее Гитлера.

Нам с трудом удалось разыскать в ресторане свободный столик. Многие блюда, которые всегда можно было тут заказать, в меню отсутствовали. Остальные существенно подорожали. Видно, спекулянты не дремали.

Все разговоры вертелись вокруг ожидаемого в ближайшее время вступления Франции и Англии в войну. За исключением немногих безнадежных пессимистов, все были уверены, что это случится в течение ближайших часов или минут. Находились даже такие, кто считал, что войну немцам объявит и Америка. Аргументы, которые они приводили, были основаны на опыте предыдущей войны: складывалось впечатление, что единственной целью Первой мировой войны было показать нам, как воевать в следующий раз.

Франция и Англия вступили в войну только 3 сентября.

Часы в тот день уже показывали одиннадцать, а я все еще был дома. Радиоприемник мы все время оставляли включенным, чтобы не пропустить ни одной новости. Но сообщения с фронта были неутешительны. Правда, наша кавалерия вошла в Восточную Пруссию, а наши самолеты бомбили немецкие позиции, но все же польским войскам приходилось постоянно оставлять занятые рубежи, отступая перед превосходящими силами противника. Как это могло быть, если самолеты и танки у немцев бумажные, а бензин синтетический, не годящийся даже для зажигалок, как утверждала наша военная пропаганда?

Над Варшавой уже сбили немало самолетов, и находились свидетели, которые будто бы собственными глазами видели трупы вражеских летчиков в одежде и обуви из бумаги. Как такая жалкая шайка могла заставить нас отступать? Никто не мог этого понять.

Мать кружила по комнате, отец играл на скрипке, я читал, сидя в кресле, когда по радио внезапно прервали какую-то передачу, и диктор торжественным голосом произнес, что сейчас прозвучит экстренное сообщение. Мы с отцом подсели ближе к приемнику, а мать побежала звать моих сестер и брата. Из приемника послышались звуки военного марша, потом повторили анонс, снова звуки марша, и через минуту опять объявили, что сейчас мы услышим важное сообщение. Нервное напряжение достигло уже наивысшей точки, когда раздался польский национальный гимн и сразу после него британский. После чего нам сообщили, что теперь мы сражаемся с врагом не одни, у нас появился сильный союзник, и теперь победа наверняка будет за нами, даже если война пойдет с переменным успехом и события какое-то время будут развиваться не в нашу пользу.

Трудно описать волнение, охватившее нас при этом известии. У матери слезы навернулись на глаза, отец просто рыдал, а Генрик, мой брат, принялся победоносно размахивать рукой у меня перед носом и возбужденно восклицать:

Видишь? Я же говорил!

Трудно было найти для этого более подходящий момент. Регина, чтобы предотвратить ссору, встала между нами и спокойно произнесла:

Перестаньте! Все знали, что так будет И добавила: Ведь это следовало из международных договоров.

Регина работала адвокатом, а значит, ее авторитет в подобных вопросах был непререкаем.

Галина занялась радиоприемником, пытаясь поймать Лондон, ей хотелось получить информацию из первых рук.

Обе мои сестры отличались большей выдержкой, чем остальные члены семьи. От кого они унаследовали эту черту? Разве что от матери, но сейчас и она по сравнению с моими сестрами казалась человеком неуравновешенным.

Спустя четыре часа Франция тоже объявила немцам войну. После обеда отец решил пойти на демонстрацию, которая должна была состояться перед зданием британского посольства. Мать было воспротивилась, но отец настоял на своем. Вернулся он оттуда сильно возбужденный, разгоряченный и растрепанный. Рассказывал, что видел там нашего министра иностранных дел, а также послов Англии и Франции. Участники все вместе пели и что-то там выкрикивали, пока, в связи с опасностью налетов, их не повпросили как можно скорее разойтись по домам. Толпа исполнила этот призыв с таким рвением, что для отца это чуть не закончилось плачевно, его в толчее едва не задавили. Тем не менее он вернулся довольный и пребывал в хорошем настроении.

К сожалению, наша радость длилась недолго. Сообщения с фронта делались все тревожнее.

7 сентября утром кто-то громко постучался к нам в дверь. На лестничной клетке стоял сосед из квартиры напротив, врач, одетый в высокие армейские ботинки, спортивную шапку и какую-то охотничью куртку, с рюкзаком на плече. Он очень торопился, но счел своим долгом сообщить нам, что немцы уже недалеко от Варшавы, наше правительство переехало в Люблин, а все мужчины должны покинуть город и переправиться на противоположный берег Вислы, где будет организована новая линия обороны.

Сначала мы не могли ему поверить. Я решил заглянуть к соседям, чтобы разузнать что-нибудь у них. Генрик включил радио, но там была тишина. Станция молчала.

Почти никого из соседей не было дома. Большинство квартир было наглухо закрыто, а в остальных заплаканные женщины собирали своих мужей и братьев в путь, готовясь к самому худшему. Сомневаться не приходилось врач сказал правду.

Я сразу решил остаться на месте. Никакого смысла в таких военных скитаниях я не видел. Если судьбе будет угодно, чтобы я погиб, пусть это случится дома. А кроме того, думал я, кто-то должен позаботиться о матери и сестрах, когда отец с Генриком уйдут. Но на семейном совете выяснилось, что и они решили остаться.

Из чувства долга мать еще пыталась уговорить нас бежать. С широко открытыми глазами она, волнуясь, приводила все новые аргументы, которые должны были убедить нас в необходимости покинуть город. Когда она поняла, что сломить наше сопротивление не удастся, на ее прекрасном выразительном лице отразилось чувство облегчения и удовлетворения: будь что будет, мы встретим это вместе.

Я ждал до восьми часов и, как только стемнело, решил выйти из дома. Варшаву было не узнать. Как за считанные часы город мог так разительно измениться?

Все магазины были закрыты, трамваи остановились, и только машины, нагруженные под завязку, неслись на повышенной скорости по улицам, все в одном направлении, к мосту Понятовского. По Маршалковской шел отряд солдат. Они шли браво, с песней, и все же было заметно, что выглядят они как-то необычно: винтовки держат как попало, конфедератки надеты не по уставу, маршируют кто во что горазд, а на лицах написано, что каждый идет в бой сам по себе, что они уже давно не часть того четко отлаженного механизма, каким должна быть хорошо организованная армия. Две молодые женщины, стоя на тротуаре, бросали им розовые астры, время от времени с воодушевлением что-то выкрикивая. Никто не обращал на это внимания. Люди торопились, очевидно собираясь бежать на правый берег Вислы. Они спешили, боясь не успеть надо было закончить оставшиеся дела до того, как немцы пойдут в решительное наступление. Внешний вид прохожих тоже был довольно странный. Варшава всегда была очень элегантным городом, куда же внезапно пропали дамы и мужчины, одетые так, будто сошли со

страниц модных журналов?

Те, кто сновал теперь по улицам Варшавы, были одеты так, словно собрались на какой-то охотничий или туристический маскарад. В армейских или лыжных ботинках, лыжных штанах, с платками на головах, с вещмешками или рюкзаками за плечами, с тростями в руках, одетые небрежно, в спешке, без малейшей заботы о том, чтобы вы глядеть хоть сколько-нибудь цивилизованно.

Улицы, еще вчера такие чистые, сегодня были полны грязи и мусора. На одной из боковых улочек остановились солдаты, которые только что вернулись с фронта. Они сидели и лежали везде: и на тротуаре, и на проезжей части, И их позах, жестах, выражениях лиц сквозила огромная усталость, апатия. Они ее не только не скрывали, но и подчеркивали, так, чтобы у окружающих не оставалось ни малейшего сомнения, что они оказались здесь, а не на фронте исключительно потому, что воевать уже не было никакого смысла бесполезно. Люди, стоявшие небольшими группами поодаль, передавали друг другу то, что узнали от солдат. Новости с фронта были удручающими.

Подсознательно я стал искать глазами тарелку громкоговорителя. Может, их убрали? Нет. Они по-прежнему висели на своих местах, но молчали.

Я поспешил на Радио. Почему не передают новости? Почему никто не пытается поддержать людей, остано вить это массовое бегство? Радио было закрыто. Дирекция покинула город, и только кассиры в огромной спешке выдавали служащим и творческим работникам трехмесячное пособие.

Что нам теперь делать? спросил я, поймав за рукав сотрудника, занимавшего здесь высокий административный пост.

Он посмотрел на меня отсутствующим взором, в котором читалось презрение пополам с негодованием. В конце концов ему удалось высвободить свой рукав.

А кому до этого дело? закричал он на меня, пожал плечами и выбежал вон, на улицу, от злости сильно хлопнув дверью.

Это было уже слишком. Никто не пытается остановить людей. Репродукторы на фонарных столбах молчат. Никто не очищает улицы от грязи. От грязи? От паники? Или от стыда, что по ним бегут, вместо того чтобы их защищать?

Никто не вернет городу потерянного им достоинства.

Это была картина полного поражения. С болью в сердце я вернулся домой. Вечером другого дня один из первых немецких снарядов угодил в дровяной склад, расположенный напротив нашего дома. И первым же следствием этого были выбитые стекла в ближайшем магазине на углу, старательно заклеенные полосками белой бумаги.

2 ПЕРВЫЕ НЕМЦЫ

В последующие дни, слава Богу, ситуация значительно улучшилась. Город был объявлен крепостью, назначили коменданта, который выступил с обращением к населению, призывая всех остаться в городе и подготовиться к его обороне. За Бугом уже было организовано контрнаступление польских частей, а в нашу задачу входило задержать основные силы врага на подступах к Варшаве, пока войска не смогут прийти к нам на помощь. И в самом городе положение улучшилось: обстрелы немецкой артиллерии прекратились.

Зато участились авианалеты. Воздушную тревогу уже не объявляли. Это слишком часто парализовало жизнь в городе и мешало готовиться к обороне. Почти каждый час в глубокой синеве неба, которое было удивительно ясным той осенью, появлялись силуэты самолетов, в окружении белых облачков от рвущихся снарядов работа нашей противовоздушной обороны. Тогда приходилось сразу бежать в подвал, что тоже было палкой о двух концах: полы и стены убежищ сотрясались от бомб, падающих на всю территорию города, и каждая из них, как пуля в русской рулетке, при прямом попадании в дом означала верную смерть для спрятавшихся в подвале. По городу металась карета скорой помощи. Когда они перестали справляться, к ним присоединились пролетки и даже простые подводы, чтобы вывозить из руин раненых и убитых.

Люди были настроены позитивно, с каждым часом рос их энтузиазм. Мы не были уже, как тогда, 7 сентября, брошены на произвол судьбы. Мы были частью организованной армии, которая имела свой штаб, боеприпасы и ясно поставленную цель: защиту города. И достижение этой цели зависело только от нас. Теперь каждый должен был сделать все, что в его силах.

Главнокомандующий призвал население копать рвы вокруг города, чтобы задержать немецкие танки. В этих работах участвовали все. У нас дома оставалась только мать, чтобы присматривать за квартирой и готовить обед.

Мы копали рвы на окраине города, в районе Воли, вдоль небольшого холма. За спиной у нас лежал уютный район, застроенный особняками, а впереди тянулся городской лесок. Эта работа доставила бы мне даже удовольствие, если бы и здесь не бомбили. Бомбы падали не слишком близко, но мне было не по себе, когда слышал их свист и понимал, что любая могла угодить в нас.

В первый день рядом со мной работал старый еврей в сюртуке и кипе. Он копал землю с библейским исступлением, бросаясь на заступ как на заклятого врага; с пеной на губах и скрежетом зубным, с потным и серым от усталости лицом, с дрожью сведенных судорогой мышц один черный сюртук да борода. Эта непосильная для него работа, в которую он вкладывал столько ожесточения, не приносила никаких результатов. Лопата едва-едва, самым кончиком, входила в твердую землю, а собранные на нее комья земли ссыпались обратно в ров, прежде чем старику удавалось выбросить их наружу. Он без конца кашлял и сплевывал, опершись о край окопа. Со смертельной бледностью на лице он пил мятный чай, который приносили старые женщины. Сами они уже не могли работать физически, но хотели чем-то помочь.

Вам это не по силам, сказал я ему во время одного из перерывов. Вы должны отказаться, если вам тяжело.

Мне было его жаль, и я пробовал уговорить его бросить это дело. Было очевидно, что такой труд не для него.

Ведь вас никто не заставляет

Он посмотрел на меня, тяжело дыша, поднял глаза к небу, где в голубизне по-прежнему плыли облачка от рвущихся снарядов, и в его глазах мелькнуло счастливое выражение, будто на небосводе ему явился сам Яхве во всем своем величии.

У меня магазин, прошептал он.

Старик глубоко втянул в себя воздух и зарыдал, на его лице отразилось отчаяние, и он снова неистово схватился за лопату.

Через два дня я оставил эту работу. Сказали, что на Радио как раз собираются возобновить передачи под руководством нового директора Эдмунда Рудницкого, бывшего шефа музыкальной редакции. Он не бежал, как другие. Рудницкий собирал разбредшихся сотрудников, чтобы наладить радиовещание. Я решил, что здесь я буду более полезен, чем на земляных работах. И действительно, мне пришлось много играть, как в качестве солиста, так и аккомпаниатора.

Условия жизни в городе начали заметно ухудшаться, чтобы не сказать: они ухудшались обратно пропорционально возрастающему мужеству гражданского населения.

Немецкая артиллерия обстреливала город сначала по окраинам, а потом уже и в центре. Я замечал все больше домов с пустыми оконными проемами, с разрушенными стенами или со следами от снарядов. По ночам небо было красным от зари, а воздух наполнялся дымом. Ощущалась нехватка продовольствия. Это единственное, в чем героический президент Варшавы Стажинский оказался не прав: он не должен был удерживать людей от закупок продуктов впрок. Городу пришлось теперь кормить не только себя, но и армию Познань, которая подошла с запада и смогла пробиться в Варшаву для ее защиты.

Примерно 20 сентября наша семья покинула квартиру на Слизкой и переехала к друзьям на улицу Панскую. Они жили на втором этаже. Мы думали, что нижние этажи менее опасны и спускаться оттуда во время налетов в подвалы не обязательно. Все боялись бомбоубежищ, где нечем было дышать, а низкие потолки, казалось, вот-вот рухнут и похоронят всех под развалинами многоэтажного дома. У нас на четвертом этаже было не лучше: сквозь оконные проемы, лишенные стекол, доносился свист летящих снарядов, и каждый из них мог угодить в нашу квартиру. Поэтому мы предпочли перебраться к друзьям на второй этаж, хотя там уже ютилось много народу, было тесно и спать приходилось на полу.

Тем временем осада Варшавы подходила к концу.

Мне все труднее было добираться до Радио. На улицах повсюду лежали трупы, а целые районы города находились в сплошном огне.

О том, чтобы тушить его, уже не могло быть и речи, тем более что городской водопровод был поврежден вражеской артиллерией.

Работа в студии была сопряжена с большой опасностью. Немецкие орудия целили во все важные объекты города, и, как только диктор объявлял концерт, обстрел радиостанции сразу усиливался.

Истерический страх населения перед саботажем достиг в это время апогея. Без всяких разбирательств каждый мог быть обвинен в саботаже и расстрелян.

В доме, куда мы переехали, на пятом этаже жила женщина учительница музыки. Ей не повезло с фамилией Хоффер и с характером: она ничего не боялась. Ее смелость была скорее проявлением чудачества. Не было такого налета, который мог бы заставить ее спуститься в убежище или отказаться от ежедневных утренних упражнений на рояле, длившихся по два часа. Со свойственным ей упрямством она три раза в день кормила птиц, которые сидели в клетках у нее на балконе. Такой образ жизни в осажденной Варшаве выглядел странно. Домработницы со всего дома, каждый день собиравшиеся на политические совещания у дворника, сочли это в высшей степени подозрительным. После долгих дебатов они пришли к выводу, что учительница с такой очевидно чуждой фамилией немка и своей игрой на рояле она подает вражеской авиации зашифрованные сигналы, куда сбрасывать бомбы. И прежде чем мы поняли, что происходит, эти разъяренные бабы ворвались в квартиру чудачки, отвели ее вниз и насильно водворили в один из подвалов вместе с птицами вещественным доказательством ее шпионской

деятельности. Этим они невольно спасли ей жизнь: несколько часов спустя ее квартира была целиком уничтожена попавшим в нее снарядом.

23 сентября я последний раз выступил перед микрофоном Польского радио. Сам не знаю, как я добрался до радиостанции. Я передвигался короткими перебежками, когда поблизости не было слышно свиста падающей бомбы, то и дело прячась в арках домов. В дверях я столкнулся с президентом Варшавы Стажинским. Он был небрежно одет и небрит, и выглядел смертельно усталым. Стажинский не спал уже несколько дней, он был душой защитников города и его героем. На его плечах лежала ответственность за судьбу Варшавы. Он был вездесущ: проверял передовые линии обороны, строил баррикады, занимался больницами и справедливым распределением скудных запасов продовольствия, организовывал отряды противовоздушной обороны и пожарных и, несмотря ни на что, находил время для ежедневных радиообращений к варшавянам. Все ждали его выступлений и черпали в них свой оптимизм. Не было оснований труситься, если президент не терял бодрости духа. Да и положение дел было не так уж плохо. Французы пересекли линию Зигфрида, англичане бомбили Гамбург, вот-вот начнется наступление на Германию. Так, по крайней мере, всем казалось.

В тот день я должен был играть Шопена. Это была последняя прямая трансляция концерта на Польском радио, но мы еще об этом не знали. Бомбы то и дело рвались в непосредственной близости от студии, соседние дома горели. Грохот стоял такой, что я почти не слышал звучания своего рояля. После концерта мне пришлось целых два часа переждать, когда утихнет артиллерийский обстрел, чтобы отправиться домой. Родители, сестры и брат уже думали, что со мной что-то случилось, и встретили меня так, будто я вернулся с того света. Лишь наша домработница считала, что все волнения ни к чему, и пояснила свою мысль: Ведь если документы при себе, его все равно принесли бы домой.

В четвертом часу того же дня радио замолчало. Передавали запись концерта до минор Рахманинова, как раз подходила к концу прекрасная, преисполненная покоя вторая часть, когда немецкая бомба угодила в электростанцию и репродукторы в городе замолчали. Вечером я еще пытался, несмотря на шквальный артиллерийский обстрел, сочинять концертно для фортепиано с оркестром. Я пытался работать над ним и позднее, вплоть до конца сентября, хотя давалось мне это со все большим трудом.

Наступили сумерки, я выглянул из окна. Улица, светлая от огня, была пуста, время от времени ее сотрясало эхо взрывов. Слева горела Маршалковская, за мной Крулевская и Гжибовская площадь, впереди Сенная улица. Низко над домами висели кроваво-красные клубы дыма. Проезжая часть и тротуары были усыпаны немецкими листовками, которые никто не поднимал: говорили, что они отравлены. Около уличного фонаря лежали два мертвых человека: один с широко раскинутыми руками, а другой словно прилег поспать. У ворот нашего дома лежал труп женщины с оторванной головой и без руки. Около нее перевернутое ведро. Несла воду из колонки. Темная длинная струя крови тянулась от нее к сточной канаве и дальше к канализационной решетке.

По Железной со стороны Велькой улицы медленно ехала пролетка. Непонятно, как ей удалось доехать сюда и почему лошадь и возница вели себя так спокойно, будто вокруг ничего не происходило. На пересечении с Сосновой извозчик придержал лошадь, раздумывая, куда свернуть. После недолгих размышлений решил ехать прямо, тронул лошадь, та двинулась шагом. Они едва успели пройти метров десять, когда раздался свист и грохот. Меня ослепила сильная вспышка, а когда глаза привыкли к темноте, пролетки уже не было. Раздробленные куски дерева, остатки дышла, клочья обивки и растерзанные тела человека и животного под стенами домов. А ведь он мог свернуть на Сосновую.

Наступили кошмарные дни 25 и 26 сентября. Взрывы слились в непрерывный гул, в который

ввинчивался, подобно звуку электрической дрели, шум приближавшихся на бреющем полете самолетов. Тяжелый от пыли и дыма воздух проникал в каждую щель, не давая свободно дышать людям, закрывшимся в подвалах или квартирах, как можно дальше от улицы,

Сам не знаю, как я выжил в те дни. Рядом со мной осколком бомбы убило человека, с которым мы вместе прятались в спальне друзей. Почти двое суток я и еще десять человек провели, прячась в маленьком туалете. Пару недель спустя мы не могли понять, как нам удалось туда втиснуться, и пробовали это повторить, но оказалось, что в нормальной ситуации там не поместится более восьми человек.

27 сентября, в среду, Варшава капитулировала. Мне потребовалось целых два дня, чтобы набраться мужества и выйти на улицу. Домой я вернулся в отчаянии: показалось, что Варшавы больше не существует.

Улица Новый Свят сузилась до размеров тропинки, бегущей между развалинами домов. На каждом перекрестке приходилось обходить баррикады из перевернутых трамваев и вывороченных тротуарных плит. Руины многих домов еще продолжали тлеть. На улицах лежало множество разлагающихся трупов. Люди, оголодавшие за время осады города, жадно набрасывались на валявшихся везде убитых лошадей.

Я как раз шел по Иерусалимским Аллеям, когда со стороны Вислы подъехал мотоцикл с двумя солдатами в незнакомых зеленых мундирах и стальных касках. У них были большие, грубо вытесанные лица и водянистые глаза. Солдаты остановили мотоцикл у края тротуара и подозвали проходящего мимо мальчика. Тот подошел.

Marshallstrasse! Marshallstrasse!

Резкими гортанными голосами они все повторяли и повторяли это слово. Мальчик стоял окаменев, с разинутым ртом и не мог выдать из себя ни слова.

Солдаты потеряли терпение. Один из них выругался себе под нос, с презрением махнул рукой, дал газу, и они уехали.

Это были первые немцы.

Через пару дней стены варшавских домов были обклеены обращением немецкого коменданта на двух языках, где он обещал польскому населению работу и защиту со стороны немецкого государства. Один абзац был специально посвящен евреям им гарантировались сохранение всех прав, неприкосновенность имущества и полная безопасность.

3 ПОКЛОНЫ ОТЦА

Мы возвращались на Слизкую, не надеясь застать свою квартиру в сохранности. Однако, если не считать пары выбитых стекол, все оказалось в порядке. Двери были заперты на ключ так, как мы их оставили, уезжая, а внутри каждая мелочь оказалась на своем месте. И другие дома поблизости остались целы. Когда, спустя несколько дней, мы начали выходить на улицу, пытаясь узнать что-нибудь о своих друзьях, оказалось, что город, несмотря на большие разрушения, живет. Потери в действительности были гораздо меньше, чем можно было подумать сразу после налетов.

Сначала говорили о ста тысячах убитых, и все были глубоко потрясены этой цифрой, составлявшей ни много ни мало десять процентов всех жителей Варшавы. Позднее стало ясно, что число жертв равнялось примерно двадцати тысячам. Среди них были и наши друзья еще несколько дней назад мы видели их живыми, а сегодня они лежали под развалинами, разорванные на куски во время бомбежки. Двое сослуживцев моей сестры Регины погибли под рухнувшей стеной дома на Котиковой улице. Проходя мимо этого места, приходилось закрывать нос платком. Зловоние от восьмидесяти разлагающихся тел проникало сквозь щели в стенах и заваленные окна подвалов, отравляя воздух во всей округе. Один из моих друзей был разорван артиллерийским снарядом на Мазовецкой. Лишь благодаря тому, что нашли его голову, удалось установить, что эти растерзанные останки принадлежали человеку, который был способным скрипачом. Это были ужасные известия.

Но ничто не могло замутить нашей стыдливо таящейся в подсознании, почти животной радости, что мы сами живы и уже вне опасности. В этой новой реальности все, еще месяц назад являвшееся устойчивой ценностью, утратило значение. А то, что до этого не заслуживало ни малейшего внимания, заняло новое, несвойственное ему важное место: красивое и удобное кресло, уютная, облицованная белым кафелем печь, на которой приятно остановить свой взгляд, скрип пола, доносящийся из квартиры над нами, признаки нормальной жизни, домашнего уюта.

Отец первым вернулся к занятиям музыкой. Он часами играл на скрипке, найдя в ней для себя убежище от реальности. Когда кто-нибудь приходил с очередными плохими новостями и пытался оторвать его от дела, он слушал с озабоченным выражением, наморщив лоб, но тут же его лицо прояснялось, и он говорил: Это ничего не значит! Все равно самое позднее через месяц здесь уже будут союзники! Этот неизменный ответ на все вопросы помогал тогда отцу уйти от окружающей действительности в неземной мир музыки, где ему было лучше всего.

К сожалению, первые сообщения, полученные от тех, кто сумел, используя аккумуляторы, наладить работу своих радиоприемников, не подтверждали оптимизма отца. Хорошего было мало: французы не пытались прорвать линию Зигфрида, англичане не пытались бомбить Гамбург, не говоря уже о каких-то планах вторжения в Германию. В Варшаве в это время начались первые облавы. Сначала их проводили неумело, словно стыдясь этого пока непривычного способа мучить людей. Да еще тем, кто это делал, недоставало опыта. Маленькие частные автомобили разъезжали по городу, внезапно останавливаясь около идущих мимо евреев, в открывшуюся дверь просовывалась рука, и согнутый указательный палец подзывал их: *Kom!*, *Kom!*. Спасшиеся из таких облав рассказывали о первых случаях избиений, которые тогда еще не были так опасны и ограничивались ударом в лицо или парой пинков. Эти происшествия особенно болезненно переживали те, кто считал их унижительными, еще не понимая, что с точки зрения морали их можно было бы приравнять к ударам или пинкам какого-нибудь животного.

На первых порах всеобщее негодование по поводу членов польского правительства и армейского командования, сбежавших за границу и бросивших страну на произвол судьбы, было

сильнее, чем ненависть к немцам. С горечью вспоминали слова маршала, ^[1] обещавшего не отдать врагу даже пуговицы от мундира. И правда не отдал, потому что забрал мундир с собой, когда бежал из Польши. Хватало и таких, которые предрекали, что теперь будет даже лучше, потому что немцы наконец-то наведут в Польше порядок.

Наемотря на то что с военной точки зрения немцы нас победили, в политическом отношении они терпели поражение. Окончательно это стало ясно после первого расстрела в Варшаве в декабре 1939 года ста ни в чем не повинных мужчин. Тогда за несколько часов между поляками и немцами выросла стена ненависти. Ее уже никогда не удалось преодолеть, несмотря на жесты доброй воли, которые оккупанты нередко делали в последующие годы.

Появились первые немецкие распоряжения, за неисполнение которых грозила смерть. Самое важное из них касалось торговли хлебом: каждый, кто осмелится продавать или покупать хлеб по цене выше довоенной и будет застигнут на месте преступления, подлежит расстрелу. Это запрещение произвело шок. Мы перестали есть хлеб и в течение многих дней питались картошкой и разными мучными блюдами. Потом Генрик заметил, что хлеб никуда не исчез, его покупают и покупателей на месте никто не расстреливает. И мы тоже начали покупать хлеб. Запрет так и не был отменен, все покупали и ели хлеб в течение тех пяти лет, что шла война, потому что во исполнение приказа пришлось бы расстрелять миллионы людей на территории всего генерал-губернаторства. Прошло еще немало времени, прежде чем мы поняли, что по-настоящему опасно не то, что немцы едят, а то, что могло случиться с каждым из нас совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба, без всякого предупреждения или распоряжения.

Вскоре начались новые притеснения, направленные главным образом против евреев. Немцы начали переводить в свою собственность недвижимость, находившуюся в руках евреев. Еще было объявлено, что ни одна семья не может иметь более двух тысяч злотых, остальные сбережения и ценные вещи, стоимость которых превышала эту сумму, следовало сдать на хранение в банк. Конечно, никто не был так наивен, чтобы добровольно отдать в руки врагов что бы то ни было. Мы тоже решили скрыть то, что у нас есть, хотя все наше богатство состояло из отцовских золотых карманных часов и пяти тысяч злотых наличными.

У нас разгорелся бурный спор о том, где это спрятать. Отец предложил способ, оправдавший себя во время предыдущей войны: просверлить ножку стола и запихнуть туда.

А что будет, если стол заберут? иронически спросил Генрик.

Чушь, ответил отец с негодованием. Зачем им такой стол?

Он презрительно посмотрел на лакированную поверхность столешницы все, что было на нее когда-то пролито, оставило здесь свои следы. Ореховый шпон в одном месте отклеился. Отец вдруг подошел и сунул туда палец. Кусочек с треском отломился, и показалось необработанное дерево. Это должно было лишить стол остатков красоты.

Ты что же это делаешь? возмутилась мать.

У Генрика было другое предложение. С его точки зрения, следовало использовать психологический прием часы и деньги положить на стол на видном месте, тогда немцы не заметят их, потому что будут искать всевозможные тайники.

В конце концов мы договорились сделать так: часы засунуть под шкаф, цепочку от часов в отцовский футляр от скрипки, а деньги вклеить в оконную раму.

Люди не давали запугать себя жестокостью немецких порядков, теща себя надеждой, что Германия вот-вот передаст Варшаву Советской России, а та при первой возможности вернет Польше все территории, занятые ею, конечно, только для виду. Граница на Буге еще не установилась, и из-за Вислы постоянно приходили люди, которые божились, что собственными глазами видели русские части в Яблонной или Гарволине. Многие уверяли, что встретили

русских, которые покидали Вильнюс и Львов, оставляя их под контролем немцев. Трудно было разобраться, кому верить.

Многие евреи не стали ждать русских. Они продавали в Варшаве свое имущество и отправлялись на восток в единственном направлении, куда еще можно было бежать от немцев. Почти все мои коллеги тоже решили двинуться в путь и пробовали уговорить меня пойти вместе с ними, но наша семья и на этот раз решила остаться.

Один наш знакомый вернулся через два дня без рюкзака и денег, избитый и в полном отчаянии. Недалеко от границы он видел пятерых евреев, которых раздели до пояса, подвесили за руки на деревьях и высекли. Он был свидетелем смерти доктора Хацкилевича, которого немцы за то, что он хотел переправиться через Буг, заставили, угрожая расстрелом, войти в реку, все дальше и дальше, пока он не перестал доставать ногами до дна и утонул. И все же многим евреям, пусть ограбленным и хлебнувшим лиха, удавалось добраться до России. У моего коллеги всего лишь украли вещи и деньги, избили и прогнали прочь. Мы сочувствовали бедняге, но нам казалось, что для него было бы лучше, если бы он поступил так же, как мы. В основе нашего решения была не логика, а, как ни пафосно это прозвучит, наша привязанность к Варшаве.

Говоря наша, я подразумеваю всех своих близких, за исключением отца. Если он и остался, то только потому, что не хотел уезжать далеко от своего родного Сосновца. Варшаву он никогда особенно не любил, и чем хуже нам здесь было, тем больше он тосковал по родному городу и тем сильнее его идеализировал. Только там было хорошо и красиво, люди любили музыку, ценили его как скрипача, и только там можно было выпить хорошего холодного пива, в то время как здесь, в Варшаве, подавали мерзкую, отвратительную бурду. После ужина, сложив руки на животе, он усаживался в кресло поудобнее, мечтательно прикрывал глаза и монотонным голосом начинал свой рассказ, скрашивая нашу жизнь воспоминаниями о Сосновце, который существовал только в его стосковавшемся воображении.

В последние недели осени, меньше чем через два месяца после вторжения немцев, жизнь в Варшаве как-то разом вернулась в свою обычную колею. Быстро начавшееся экономическое оживление явилось еще одной неожиданностью этой самой странной из всех войн, где все шло иначе, чем следовало ожидать. Огромный, наполовину разрушенный город столицу многомиллионного государства с целой армией безработных чиновников наводнили многочисленные переселенцы из Силезии, Поморья и Познани. Эти люди без крыши над головой, без шансов найти работу и без каких-либо видов на будущее вдруг обнаружили, что можно зарабатывать огромные деньги, обходя немецкие постановления. Чем больше их появлялось, тем больше было возможностей незаконного заработка.

Жизнь потекла по двум руслам: первому, где в соответствии с новыми законами люди должны были работать с утра и до вечера, при этом питаясь почти впроголодь, и второму противозаконному, дающему сказочные возможности обогащения, с отлично развитой системой торговли долларами, бриллиантами, мукой, кожами или фальшивыми документами, правда, под дамокловым мечом смертной казни, зато с развлечениями в роскошных ресторанах, куда ездили на рикшах.

Немногие жили тогда в достатке. Возвращаясь домой, я каждый раз встречал сидящую в нише дома на Сенной женщину, которая пела печальные русские песни. Она всегда начинала собирать милостыню только после наступления сумерек, как бы боясь, чтобы ее не узнали. На ней был элегантный серый костюм, свидетельствующий о том, что его хозяйка знавала и лучшие времена. Ее красивое лицо в сером свете наступающих сумерек казалось мертвым, а глаза смотрели неподвижно в одну точку, куда-то поверх голов прохожих. Аккомпанируя себе на аккордеоне, она мелодично пела приятным низким голосом. Вся ее фигура, то, как она опиралась о стену, выдавали в ней женщину из высших слоев общества, которую только война

могла заставить зарабатывать себе на жизнь таким способом. Но дела ее шли неплохо. В стоящем у ее ног так, чтобы никто не сомневался, что она ждет вспомоществования, тамбурине, украшенном светлыми ленточками, который, очевидно, казался ей символом нищенства, всегда было много монет, а иногда даже банкноты по пятьдесят злотых.

Я тоже старался выходить на улицу только после наступления сумерек, но по совершенно иным причинам. Среди множества тягостных, направленных против евреев распоряжений было неписаное правило, требовавшее безусловного исполнения: мужчины еврейского происхождения должны приветствовать поклоном каждого встречного немецкого солдата. Это идиотское и оскорбительное требование доводило меня и Генрика до белой горячки. Мы делали все возможное, чтобы от этого уклониться. Заметив издали идущего навстречу немца, переходили на другую сторону улицы, а когда нельзя было избежать встречи, отворачивались, делая вид, что не заметили, хотя это всегда было чревато как минимум избиением.

Отец вел себя совершенно иначе. Он выбирал для прогулок самые оживленные улицы и приветствовал немцев преувеличенным, полным иронии поклоном, наслаждаясь тем, что военный, введенный в заблуждение радостью на его лице, отвечал ему вежливо и с улыбкой, как хорошему знакомому.

Каждый вечер, вернувшись домой, он не мог отказать себе в удовольствии упомянуть вскользь, какая он популярная личность: стоит ему выйти на улицу, как его тут же окружает множество знакомых, от них просто невозможно отделаться, он уже устал все время приподнимать шляпу. Он рассказывал об этом с лукавой улыбкой, потирая руки от удовольствия.

Эти притеснения немцев не стоит недооценивать. Они были частью программы, направленной на то, чтобы держать нас в постоянном нервном напряжении и неуверенности в завтрашнем дне. Не проходило недели, чтобы не появлялось все новых распоряжений, на первый взгляд несущественных, но постоянно дающих нам понять, что немцы о нас помнят и забывать не собираются. Евреям запретили пользоваться железной дорогой. Нам приходилось платить в трамвае в четыре раза больше, чем арийцам. Появились первые слухи о создании гетто. Они кружили дня два, приводя людей в ужас, потом внезапно прекратились.

4 ГЕТТО

В тот год осень затянулась, но к концу ноября солнце стало проглядывать все реже, зарядили холодные проливные дожди в один из таких дней смерть впервые прошла совсем рядом с нами. Как-то вечером мы с отцом и Генриком засиделись у знакомых, и когда я посмотрел на часы, то с ужасом понял, что вот-вот начнется комендантский час. Нужно было немедленно уходить. Правда, попасть домой вовремя мы все равно не успевали, но ведь небольшое опоздание не великий грех. Поэтому мы решили рискнуть.

Надев пальто, мы поспешно попрощались и выбежали на улицу. Было темно и пусто. Дождь хлестал по лицу, порывистый ветер трепал вывески, отовсюду доносился их металлический грохот. С поднятыми воротниками мы двигались вдоль стен домов, стараясь идти как можно быстрее и тише. Мы уже были на Зельной улице, почти дома, как вдруг из-за угла показался жандармский патруль. Попытаться уйти или спрятаться было уже поздно. Мы стояли в слепящем свете фонариков, а один из жандармов подошел ближе, чтобы рассмотреть наши лица.

Евреи?

Вопрос был скорее риторический, потому что ответа он и не ждал:

Ну, да

В его голосе вместе с угрозой и издевкой звучало торжество ведь добыча ему досталась просто превосходная. Прежде чем мы поняли, что они собираются делать, нас поставили лицом к стене, отступили на несколько шагов и передернули затворы автоматов. Так вот какая она, наша смерть Мы встретим ее уже через несколько секунд. Потом мы будем лежать в лужах крови с раздробленными черепами до завтрашнего дня, пока мать и сестры не узнают обо всем и не прибегут сюда. Знакомые станут упрекать себя, что позволили нам уйти в столь поздний час. Такие мысли пронеслись у меня в голове, но все равно я словно не осознавал, что это происходит со мной. Я услышал, как кто-то произнес:

Это конец!

Лишь спустя мгновение я понял, что это был мой собственный голос. Кто-то громко плакал. Я повернул голову и в свете фонариков увидел отца, стоявшего на коленях на мокром асфальте. Рыдая, он умолял жандармов даровать нам жизнь. Как он мог так унижаться! Генрик склонился над отцом, что-то шепча ему и пробуя его поднять. В Генрике, моем брате, с его вечным сарказмом, в тот момент открылось что-то обезоруживающе нежное. Я никогда его таким не видел. Должно быть, в нем жили два человека, и со вторым, совершенно на него непохожим если бы у меня была возможность узнать его раньше мы могли бы найти взаимопонимание и не ссориться каждую минуту. Я снова отвернулся к стене. Положение было безнадежным. Отец плакал, Генрик пытался его успокоить, а немцы по-прежнему держали нас на прицеле. Мы не могли их видеть, ослепленные светом фонариков. Вдруг, за какую-то долю секунды я инстинктивно понял, что смерть прошла стороной. Кто-то из них гаркнул:

Профессия?

Генрик с необычайным самообладанием, спокойным тоном, будто ничего особенного не происходило, ответил за нас всех:

Мы музыканты.

Один из жандармов подошел ближе, взял меня за шиворот и потряс с такой злобой, словно не он сам решил даровать нам жизнь:

Ваше счастье, что я тоже музыкант! Он ударил меня так, что я отлетел к стене. Бегите, быстро!

Мы бросились вперед куда-то в темноту, чтобы как можно скорее исчезнуть из круга света

от фонариков, боясь, что жандармы могут еще передумать. Удаляясь, мы слышали, как сзади разгорается ссора. Два других жандарма упрекали нашего спасителя за то, что он проявил сочувствие, которого мы не стоим, ведь война, на которой гибнут ни в чем не повинные немцы, началась исключительно по нашей вине.

Если бы немцы отправлялись на тот свет также быстро, как им удавалось богатеть! Банды немцев все чаще врываются в квартиры, где жили евреи, забирая все ценные вещи и мебель и вывозя их грузовиками. Охваченные страхом люди старались избавляться от всего стоящего, оставляя лишь то, что не могло бы никого прельстить. Мы тоже продали почти все, что сумели, но не из страха перед налетами, а потому, что дела наши шли все хуже. Ни у кого в нашей семье не было торговой жилки. Регина пробовала, но из этого ничего не вышло. Она, как юрист, обладала сильным чувством справедливости, поэтому не умела запрашивать за какую-то вещь двойную цену. Она быстро отказалась от торговли и занялась репетиторством. Отец, мать и Галина давали уроки музыки, а Генрик английского языка. Только я в то время не мог принудить себя заниматься чем-нибудь для заработка. Я впал в глубокую депрессию, лишь изредка мне удавалось заставить себя заняться инструментровкой моего концертино.

Во второй половине ноября, безо всяких объяснений, немцы начали строить ограждения из колючей проволоки по северной стороне Маршалковской улицы. А в конце месяца появилось объявление, которому сначала никто не мог поверить. Оно превосходило все наши самые мрачные предчувствия: в срок с 1 по 5 декабря все евреи должны были обзавестись белыми повязками с пришитой бело-голубой звездой Давида. Имея публичное клеймо, мы должны были выделяться из толпы как предназначенные на убой. Тем самым перечеркивалось несколько сотен лет движения человечества по пути гуманизма. Это означало возврат к методам темного Средневековья.

Теперь многие наши знакомые из еврейской интеллигенции целые недели проводили под добровольным домашним арестом. Никто не решался выйти на улицу с повязкой на рукаве. Когда избежать этого было совершенно невозможно, пытались проскользнуть незаметно, глядя в землю, со стыдом и болью на лице.

Потянулись необычайно тяжелые зимние месяцы. Казалось, мороз помогает немцам в преследовании варшавян. Целыми неделями держалась такая низкая температура, какой не могли припомнить в Польше даже старики. Достать уголь было почти невозможно, а его цена выросла неимоверно. Помню, бывали дни, когда мы не вставали с постели, так холодно было в квартире.

В самые суровые морозы в Варшаву из западных областей Польши стали приходить транспорты с евреями. Живыми до конечного пункта добирались немногие. Их долго везли из родных мест в телячьих пломбированных вагонах, без еды, воды и тепла. Когда транспорты прибывали на место назначения, в живых оставалось не больше половины отправленных, да и те с тяжелыми обморожениями. Умершие, одеревенев на холоде, стояли в тесной толпе среди живых и валились на землю, как только открывали засовы вагонов.

Казалось, что хуже быть уже не может. Но так казалось лишь евреям. Немцы думали иначе. В соответствии с немецким принципом постепенного усиления террора были обнародованы новые распоряжения. Первое сообщало о вывозе евреев на работы в концентрационные лагеря, где мы должны были получать необходимое общественное воспитание, чтобы перестать быть паразитами на здоровом теле арийской расы. Отправке подлежат здоровые мужчины в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет и женщины в возрасте от четырнадцати до сорока пяти лет. Второе распоряжение касалось порядка регистрации и транспортировки. Немцы не хотели этим заниматься сами и решили поручить эту задачу еврейской общине. Мы должны были сами себе стать палачами, своими руками приблизить свой конец, совершить нечто вроде узаконенного

ими самоубийства. Транспорт был запланирован на начало весны.

Еврейская община решила сделать все возможное, чтобы уберечь интеллигенцию. За тысячу злотых занесенного в списки вычеркивали и заменяли на какого-нибудь еврейского пролетария. Конечно, не вся тысяча попадала в руки этих несчастных: руководители общины тоже нуждались в деньгах, чтобы скрасить себе жизнь водкой с закуской.

Наконец-то наступила весна. Ожидаемый транспорт не состоялся. Это лишний раз подтверждало, что не все официальные постановления немцев выполнялись. Напротив, началась длившаяся несколько месяцев разрядка в отношениях между евреями и немцами, которая казалась тем реальнее, чем сильнее обе стороны были поглощены событиями на фронте.

Мы надеялись, что союзники за зиму спокойно подготовятся и весной атакуют немцев одновременно из Франции, Бельгии и Голландии, линия Зигфрида будет прорвана, они займут Баварию, Саарский угольный бассейн и северную часть Германии, войдут в Берлин и самое позднее летом освободят Варшаву. Целый город жил во взволнованном ожидании этого наступления как какого-то праздника. В это время немцы вошли в Данию, что, по мнению наших местных политиков, не могло ни на что повлиять все равно они угодят там в окружение.

10 мая началось наступление, но не союзников, а немцев. Голландия и Бельгия пали, агрессии подверглась Франция, но тем более не стоило терять надежды. Повторялся 1914 год. Даже во главе французских войск стояли те же самые люди, что и тогда: Петен, Вейган лучшие командиры школы Фоша. Можно было ожидать, что и на этот раз они дадут немцам отпор не хуже.

В середине дня 20 мая ко мне пришел знакомый скрипач. Нам хотелось вместе вспомнить одну сонату Бетховена, которую мы оба очень любили, но давно не играли. Пришло еще несколько друзей, и мать, желая сделать мне приятное, приготовила полдник. Был прекрасный солнечный день, мы пили замечательный кофе, ели испеченные матерью пироги, все были в хорошем настроении; уже было известно, что немцы стоят под Парижем, но никто особенно не волновался, ведь оставалась еще Марна природный защитный рубеж, здесь все должно было остановиться, как на фермате во второй части скерцо си минор Шопена, и после этого немцы в том же бешеном темпе восьмых долей, в каком они наступали, будут вынуждены отступить до своих границ, а потом и дальше, вплоть до заключительного победного аккорда союзников.

Мы выпили кофе и собрались играть. Я сел к роялю в окружении внимательных слушателей, способных оценить хорошее исполнение и получить удовольствие от музыки. Справа от меня встал скрипач, а слева села молодая и хорошенькая подруга Регины, чтобы переверачивать страницы нот. Чего еще я мог пожелать для полного счастья? Мы еще ждали Галину, которой пришлось ненадолго спуститься в магазин, расположенный под нами, чтобы позвонить. Она вернулась со специальным выпуском какой-то газеты. Большими буквами, наверное, самыми большими, какие нашлись в типографии, на первой странице было напечатано: ПАРИЖ ВЗЯТ!

Я уронил голову на рояль и разрыдался, в первый раз с начала войны.

Теперь, упоенные своей победой, немцы после короткой передышки снова возьмутся за нас, хотя нельзя сказать, что, пока шли бои на западном фронте, они о нас забыли. Грабежи, выселение евреев и отправка на работу в Германию шли постоянно, но к этому все уже успели привыкнуть. Теперь следовало ожидать чего-нибудь похуже.

В сентябре ушли первые транспорты в лагерь в Бельжиц и Хрубешов. Евреи, получавшие там правильное воспитание на мелиоративных работах, днями напролет стояли по пояс в воде, копая рвы. В сутки им выдавали сто граммов хлеба и тарелку водянистого супа. Работы длились не два года, как было обещано, а всего три месяца, но и этого хватило, чтобы довести этих людей до полного физического истощения, к тому же многие заболели туберкулезом.

Все мужчины, оставшиеся в Варшаве, были обязаны записаться на работу и минимум шесть дней в неделю работать физически. Я делал все возможное, чтобы этого избежать. В основном из-за пальцев: достаточно было самого незначительного повреждения суставов, надрыва мышц или легкой травмы, чтобы на карьере пианиста поставить крест. Генрик относился к этому совершенно иначе: с его точки зрения, каждый, кто занят творческим трудом, должен познать вкус тяжелой физической работы, узнать её цену. Вот он и записался туда добровольно, несмотря на то что это лишило его возможности учиться дальше.

Вскоре произошли два события, потрясшие всех: первым был воздушный налет немцев на Англию, вторым щиты и развешенные на улицах, ведущих в гетто, извещавшие об эпидемии тифа в этом районе и необходимости обходить его стороной. Вскоре после этого в единственной варшавской газете, которую издавали немцы на польском языке, был опубликован официальный комментарий на тему: евреи общественно вредные элементы и разносчики заразы. Их вовсе не запирали в гетто, само это слово совершенно неуместно. Ведь немцы народ великодушный и культурный и никогда не создали бы гетто даже таких паразитов, как евреи, ведь новый европейский порядок несовместим с таким пережитком Средневековья, как гетто. Напротив, в городе планируется выделить специальный район, где будут жить только евреи и где они будут чувствовать себя свободно, исполнять свои ритуалы и развивать свою культуру. Этот район окружен стеной исключительно по соображениям гигиены, чтобы тиф и другие еврейские болезни не перекинулись на население остальной части Варшавы. Комментарий сопровождался картой города, где были точно указаны границы гетто.

Нам оставалось утешать себя тем, что вся наша улица оказалась внутри гетто и нам не пришлось подыскивать себе новую квартиру. Евреи, живущие в других частях города, оказались в несравнимо худшем положении. Они были вынуждены платить огромные отступные, чтобы до конца октября найти новое жилье в черте гетто. Самые удачливые переехали в свободные комнаты на Сенной, которая стала Елисейскими Полями гетто, или куда-то поблизости. Остальные вынуждены были довольствоваться грязными притонами на улицах, издавна заселенных еврейской беднотой: Гусиной, Драконьей и Заменхофа.

Выход из гетто перекрыли 15 ноября. В тот вечер у меня были какие-то дела в конце Сенной улицы, на пересечении ее с Железной. Шел дождь, но для этого времени года было необыкновенно тепло. Темные улицы кишели людьми с белыми повязками на рукавах. Все возбужденно бегали туда-сюда, как звери, запертые в клетке и не успевшие еще к ней привыкнуть. У стен домов на грудах промокших и забрызганных грязью перин выли женщины с детьми, которые тоже заходились от крика. Это были еврейские семьи, брошенные в гетто в последний момент и не имевшие ни малейшего шанса получить здесь хоть какую-то крышу над головой. На территории и так уже перенаселенного района, где могло разместиться от силы сто тысяч человек, теперь должно было проживать более полумиллиона.

На фоне темной улицы в свете фар выделялся свежеструганным деревом квадрат ворот, отрезавших гетто от мира свободных людей, которые жили на достаточной площади в одном с нами городе.

Отныне никто из нас не имел права переступить эту черту.

Как-то я встретил друга моего отца. Он тоже был музыкантом и таким же, как отец, мягким, беззаботным человеком.

Ну, что вы обо всем этом думаете? Он нервно засмеялся и обвел рукой толпу людей, стены и ворота гетто.

Что? переспросил я. Они нас прикончат.

Но старик не мог или не хотел со мной согласиться. Снова рассмеявшись, уже несколько принужденно, он похлопал меня по плечу и воскликнул:

Не расстраивайтесь! Он схватил меня за пуговицу пальто, приблизил свое розовое лицо и заявил с глубокой, а может, хорошо разыгранной убежденностью: Ведь нас все равно скоро выпустят. Как только об этом узнают американцы

5 ТАНЦЫ НА УЛИЦЕ ХЛОДНОЙ

Возвращаясь к пережитому в варшавском гетто с ноября 1940 года по июнь 1942-го, я пытаюсь и не могу разделить свои воспоминания на части и расположить их, как в дневнике, в хронологическом порядке все события этих двух лет сливаются в один день. Конечно, многие факты, относящиеся к этому и более позднему периоду, теперь общеизвестны. Один из них охота на людей, подобная той, что устраивали немцы на жителей всей оккупированной ими территории Европы, чтобы превратить их в рабочий скот. Правда, в гетто эту практику неожиданно прекратили весной 1942 года. Евреев приберегали для другой цели. Им предусмотрели охранный период, как принято до начала охотничьего сезона, чтобы запланированная большая охота оказалась богатой и никого не разочаровала. Евреев грабили так же, как греков, французов, бельгийцев или голландцев, с той только разницей, что делалось это более последовательно и от имени закона. Не облеченные соответствующими полномочиями немцы не имели доступа в гетто и не имели права обирать нас по собственному желанию. Это разрешалось только немецкой полиции по распоряжению коменданта в соответствии с законом Третьего рейха, легализовавшим грабеж.

В 1941 году Германия напала на Россию. Затаив дыхание, следили в гетто за ходом нового немецкого наступления: сначала с тщетной надеждой, что нацистам наконец дадут отпор, а позднее с сомнением и страхом за свою судьбу и за будущее всего человечества. Это сомнение росло по мере продвижения гитлеровских войск в глубь России и сменялось оптимизмом, когда немцы под угрозой смерти начинали реквизировать у евреев все меховые изделия. Это давало повод задуматься: так ли хороши у них дела, если их победа может зависеть от жакетов из лисы и бобра.

Границы гетто сужались. Его территорию систематически сокращали, точно так, как немцы сжимали границы вокруг свободной части Европы, захватывая очередное государство. Слово варшавское гетто представляло собой не менее важную проблему для немцев, чем Франция, а отсечение от него Злотой или Железной улицы имело такое же значение для расширения их жизненного пространства, как отделение от Франции Эльзаса и Лотарингии. И все же ничто не угнетало нас так сильно, как постоянная, все-подавляющая мысль: мы узники. Мне кажется, с ней легче было бы смириться, если бы нашу свободу ограничило более осязаемо например, тюремной камерой. Такой способ изоляции ясно и недвусмысленно определял бы наши отношения с окружающим миром. Там известно, чего ждать: тюрьма это другая реальность, лишённая даже видимости нормальной жизни, о которой остается только мечтать. Все погружено в тюремный быт не так, как в гетто, где иллюзорность всего и вся где бы ты ни был, каждую минуту, на каждом шагу напоминает об утраченной свободе. Жизнь в гетто выносить было тем труднее, чем больше она походила на обычную. Выйдя на улицу, можно было подумать, что находишься в обыкновенном городе. Повязки на рукаве уже никого не смущали их носили все, а спустя какое-то время пребывания в гетто я поймал себя на том, как сильно я к ним привык: когда мне снились друзья еще довоенных лет, я видел их с повязкой, будто та была неотъемлемой частью костюма, как галстук или носовой платок. Но улицы гетто вели в никуда. Они всегда кончались стеной. Мне часто случалось идти куда глаза глядят, пока я неожиданно не наткнулся на стену. Она внезапно выростала передо мной, и не было никакого логического объяснения, почему мне нельзя при желании продолжить свой путь. Улица по ту сторону стены становилась для меня невероятно значимой, я не мог без нее обойтись, как без чего-то самого дорогого в жизни, там происходило то, за участие в чем я отдал бы все на свете. Подавленный, я возвращался обратно, и так каждый день в том же отчаянье. В гетто можно было пойти в

ресторан или кафе. Вы встречали там друзей, и почему бы, казалось, не провести с ними время в приятной обстановке, как в любом другом кафе в мире. Но рано или поздно у кого-нибудь из присутствующих срывалось с языка, что неплохо бы всей компанией в выходной выбраться в Отвоцк. Ведь сейчас лето, прекрасные жаркие дни простоят еще долго, и ничто не помешает осуществить эту простую, в общем-то, затею. Хоть вот сию минуту. Только заплатить за кофе, выйти на улицу, вместе со смеющимися друзьями направиться на вокзал, купить билеты и сесть в пригородный поезд. Мы находились в замкнутом в стенах гетто иллюзорном мире, полном подмен

Этот почти двухлетний период моей жизни вызывает у меня детское воспоминание об одном событии, правда куда менее продолжительном. Мне должны были удалить аппендикс. Операция не слишком сложная не о чем волноваться. Сделать ее собирались через неделю, дата была уже определена, и палата в больнице зарезервирована. Родители, желая скрасить мне ожидание, старались меня отвлечь разными приятными вещами. Каждый день мы выходили съесть мороженое, потом в театр или кино, мне дарили книги и игрушки все, что душе угодно. Казалось, чего мне не хватало для полного счастья? Но и по сей день я очень хорошо помню, что всю ту неделю, везде в кино, в театре, поедая мороженое или во время других, столь же увлекательных занятий, целиком поглощавших мое внимание, меня не покидал подсознательный страх перед чем-то неопределенным, мне еще неизвестным: предстоящей операцией. Подобный инстинктивный страх не отпускал людей, находящихся в гетто, на протяжении целых двух лет. По сравнению с тем, что началось потом, это было относительно спокойное время, в течение которого наша жизнь постепенно скатывалась к кошмару, так как все каждую секунду ожидали чего-то ужасного, но никто не знал, чего именно и с какой стороны ждать.

Каждое утро я выходил из дома, обычно сразу после завтрака. В ежедневный ритуал входила длинная прогулка на улицу Милую, к Иегуде Зискинду, который жил там с семьей в темной, мрачной дыре.

Выход из дома на первый взгляд нечто совершенно обыденное в условиях гетто, а особенно из-за уличных облав, выросал до размеров настоящего события. Сначала надо было навестить кое-кого из соседей, выслушать от них разные жалобы и сетования, а заодно и разузнать, какова ситуация в городе: нет ли облав, не заблокированы ли улицы, что происходит на пропускном пункте на улице Хлодной. Только теперь можно отважиться выйти из дома, но попрежнему нельзя терять бдительности: мы все время останавливали идущих с противоположной стороны, чтобы узнать, что там делается. И только такие меры безопасности давали хоть какую-то надежду избежать облавы.

Гетто разделялось на малое и большое. Малое, расположенное между улицами Велькая, Сенная, Железная и Хлодная, после очередного сокращения территории соединялось с большим гетто только в одном месте там, где Хлодная пересекалась с Железной. Большое гетто занимало всю южную часть Варшавы с множеством маленьких вонючих улочек и переулков, которые кишели еврейской беднотой, ютившейся здесь в грязи, тесноте и нищете.

В малом гетто тоже жили тесно, но все же в пределах разумного: по три, самое большее по четыре человека в одной комнате, и по улицам, при минимальном внимании, здесь можно было пройти, не задевая других людей. А если бы и случилось задеть, то без последствий в малом гетто жили главным образом интеллигенция и зажиточные горожане, завшивленность была низкая, почти не было переносчиков насекомых. В большом гетто вы неизбежно нахватали бы их. Кошмар начинался за Хлодной, но даже перейти ее было большой удачей, невозможной без правильной оценки ситуации. Улица Хлодная полностью лежала в арийской части города. На ней не прекращалось оживленное движение автомобилей, трамваев и пешеходов. Чтобы пропустить еврейское население по Железной из малого гетто в большое и обратно, требовалось

остановить движение на Хлодной. Это было неудобно для немцев, поэтому они старались делать это как можно реже.

Идя по Железной, я уже издали видел толпу на углу Хлодной. Спешащие по делам люди нервно переступали с ноги на ногу, ожидая милости от жандарма, который решал, достаточно ли большая собралась толпа, чтобы открыть проход. Когда такой момент настаивал, часовые расступались, и масса потерявших терпение людей начинала напирать со всех сторон, толкаясь, падая и топчась друг друга, чтобы как можно скорее оказаться вне опасного соседства с немцами и раствориться в улочках обеих частей гетто. Затем шеренга часовых смыкалась, и вновь начиналось нервное, полное страха и тревоги ожидание.

Немцы скучали на посту и пробовали, как умели, чем-нибудь себя занять. Из всех развлечений они больше всего любили танцы. С близлежащих улочек сгоняли музыкантов по мере роста нищеты количество уличных ансамблей постоянно увеличивалось, потом из толпы ожидающих выбирали кого посмешнее и приказывали им танцевать вальс. Музыкантов ставили у стены дома, на проезжей части освобождали место, один из солдат брал на себя роль дирижера: когда оркестранты играли слишком медленно, он их бил. Остальные следили за тем, чтобы танцоры не халтурили. Перед запуганной толпой кружили пары: калеки, старцы, толстяки и доходяги. Коротышки или дети танцевали с людьми, выделявшимися высоким ростом. Вокруг стояли немцы и, надрываясь от смеха, покрикивали: Быстрее! Шевелитесь! Танцуют все! Когда комические пары были подобраны исключительно удачно, танцы продлевались. Проход открывался, закрывался и вновь открывался, а эти несчастные все дергались в ритме вальса из последних сил, сопя и плача от усталости и напрасно ожидая, что над ними сжалятся.

Лишь благополучно миновав Хлодную, можно было увидеть гетто в его подлинном облике. Здесь у людей не было имущества или припрятанных ценностей. Жили торговлей. По мере того как вы углублялись в путаницу тесных улочек, торговля велась все бойчее и нахальнее. Женщины с уцепившимися за их юбки детьми преграждали проходимый путь, пытаясь продать лежащий на обрывке картона кусок пирога все их богатство, от которого зависело, смогут ли их дети вечером съесть четвертушку черного хлеба. А рядом старые евреи, высохшие от голода до неузнаваемости, пытались, хрипло крича, привлечь внимание прохожих на какие-то тряпки в надежде получить за них деньги. Молодые мужчины торговали золотом и валютой, ведя яростную, упорную борьбу за покривившиеся корпуса часов, замочки от цепочек или грязные, потертые долларовые банкноты, которые рассматривали на свет и обнаруживали, что деньги фальшивые и никуда не годные, хотя продавец клялся, что они почти как новые.

По забитым людьми улицам, стуча и дребезжа, двигались конки, или конгеллерки, испарывая плотную толпу дышлами и конскими телами, как корабль рассекает носом воду. Название конгеллерка происходило от фамилий владельцев Кона и Геллера, двух еврейских богачей, которые выслуживались перед гестаповцами, благодаря чему процветали. Вагонами, из-за высокой стоимости проезда, пользовались только богатые, их приводила в гетто необходимость поддерживать торговые связи. Выходя на остановки, они старались как можно скорее добраться до магазина или конторы, где была назначена встреча, а потом опять побыстрее сесть в конку и покинуть это страшное место.

Преодолеть расстояние от остановки до ближайшего магазина было нелегко. Минутной встречи с состоятельным человеком ожидали десятки нищих, которые, сбившись в кучу, хватили его за одежду и преграждали дорогу, плача, крича или угрожая. Но было бы безрассудно в порыве сострадания подать нищему милостыню. Крик тогда переходил в вой, со всех сторон подходили другие бедняки и брали благодетеля в плотное кольцо: исхудалые, больные туберкулезом люди, толкающие своих, покрытых гнойными наростами, детей ему под ноги; жестикулирующие культи вместо рук, слепые глаза, беззубые, распространяющие зловоние рты,

молящие о жалости в последнюю минуту перед смертью, как будто лишь немедленное подавание могло отсрочить их конец.

Внутри гетто можно было попасть только по Кармелитской улице, единственной, которая туда вела. Пройти по ней, не задевая прохожих, было невозможно. Плотная людская масса не шла, а перла и проталкивалась вперед, создавая завихрения вокруг торговых лотков и затоны в подворотнях, из которых несло холодным, затхлым воздухом непроветренных постелей, прогорклого жира и гниющих отходов. По любому, самому незначительному поводу толпа впадала в панику и шарахалась то в одну, то в другую сторону, задыхаясь, давя, крича и ругаясь на чем свет стоит. Кармелитская улица была одной из самых опасных. По ней каждый день ездили тюремные машины. За их маленькими зарешеченными окошками с матовыми стеклами находились узники, которых везли с Павяка на аллею Шука, в Главное управление гестапо, а обратно то, что от них осталось после допроса кровавые комья с переломанными костями, отбитыми почками и вырванными ногтями.

Конвоиры никого не подпускали к этим машинам, несмотря на то что те были бронированы. Сворачивая на Кармелитскую, гестаповцы высовывались из автомобилей и били наотмашь палками по толпе, такой плотной, что даже при большом желании никто не мог укрыться в подворотне. Будь то обычные резиновые палки, это еще можно было пережить, но гестаповцы пользовались такими, из которых торчали бритвы и гвозди.

Иегуда Зискинд жил на улице Милой, недалеко от места ее пересечения с Кармелитской. Он был сторожем, а при случае носильщиком, возчиком, торговцем и контрабандистом: нелегально перебрасывал товары через границу гетто. Прирабатывал везде, где только мог, употребляя все свои силы и хитрость на то, чтобы прокормить семью, численность которой я не мог определить даже приблизительно, так она была велика. Если оставить в стороне его обычные занятия, то Зискинд был человеком, полным идеалов. Как член тайной организации он провозил листовки в гетто и пытался заниматься здесь нелегальной деятельностью, хотя давалось ему это с большим трудом. Относился он ко мне с некоторым пренебрежением, как следовало, с его точки зрения, относиться к артистам людям, не пригодным к подпольной работе. Все же я ему нравился, и он позволял мне ежедневно заходить к нему домой, читать свежие новости, тайно полученные по радио и только что распечатанные. Иегуда относился к решительным оптимистам.

Вспоминая сейчас о нем, после всех страшных лет, отделяющих меня от тех дней, когда он был еще жив и нес свои добрые вести людям, я восхищаюсь его стойкостью. Не было ни одного зловещего сообщения по радио, которое он не смог бы истолковать в лучшую сторону. Однажды, прочитав последние известия, я в отчаянье ударил рукой по газете и вздохнул: Но теперь вам придется, наконец, признать, что все пропало. Зискинд улыбнулся, взял сигарету, уселся поудобнее в кресле и со словами: Господин Шпильман, вы ничего не понимаете, ничего! начал свою очередную лекцию по политике. Из его речей я понимал немного, но сама его манера говорить была отмечена твердой, передающейся слушателю верой в то, что все идет как надо и, сам не зная как, я проникался тою же уверенностью. От Иегуды Зискинда с улицы Милой я всегда возвращался назад ободренный. И только уже дома, лежа в постели и снова, который раз, анализируя политические события, я приходил к заключению, что выводы Зискинда абсурдны. Но следующим утром я опять отправлялся к нему, позволял себя переубедить и уходил с новой дозой оптимизма, которая действовала до самого вечера и давала мне возможность выжить.

Зискинд попался только зимой 1942 года. С личным: на столе лежали стопки листовок, а Иегуда с женой и детьми сортировали их. Всех расстреляли на месте, не пощадив даже их маленького сынишки трехлетнего Симхи. Как же трудно стало мне надеяться на лучшее, когда убили Зискинда и не осталось никого, кто мог бы мне все как следует объяснить! Только теперь

я понимаю, что прав был не я и не эти сообщения, а Зискинд. Позднее все случилось именно так, как он предрекал, хотя тогда мы не могли в это поверить.

Домой я возвращался той же дорогой: по Кармелитской, Лешно и Железной. По пути заглядывал к друзьям, чтобы передать им новости, услышанные от Зискинда. Потом шел на Новолипки помочь Генрику тащить корзину с книгами.

У Генрика была нелегкая жизнь. Он сам ее себе устроил и даже не пытался ничего в ней менять, потому что считал, что жить иначе было бы недостойно. Знакомые, ценившие его гуманитарные способности, советовали ему поступить в еврейскую полицию. Туда в целях самосохранения шло большинство молодых людей из интеллигенции. Сверх всего, там при небольшой ловкости можно было хорошо зарабатывать. Но Генрик отвергал такие советы. Они даже возмущали его, он воспринимал их как оскорбление. Со свойственной ему суровой порядочностью он отвечал, что не намерен сотрудничать с бандитами. Знакомые обижались, а Генрик каждое утро начал ходить на Новолипки с корзиной книг. Он торговал ими, в любую погоду, в летнюю жару и зимнюю стужу, не сдаваясь и твердо стоя на своем: если его, интеллектуала, лишили иных занятий с книгами, то пусть останется хотя бы это, а опуститься ниже он себе не позволял.

Обычно, когда мы с Генриком, неся корзину, возвращались домой, все были уже в сборе и ждали только нас, чтобы приступить к обеду. Мать придавала большое значение общим трапезам это был ее способ нас поддерживать. Она следила за тем, чтобы стол, накрытый чистой скатертью и салфетками, был красиво сервирован. Прежде чем сесть за стол, мать смотрелась в зеркало, проверяя, элегантен ли у нее вид, слегка пудрилась, поправляла волосы и нервным движением рук разглаживала платье. Но как было разгладить морщины вокруг глаз, которые с каждым месяцем становились все глубже? И ничего она не могла поделать с тем, что ее пепельные волосы вдруг начали седеть. Когда все уже сидели на своих местах, она приносила из кухни суп и, разливая его, начинала разговор. При этом старалась избегать неприятных тем. Когда, однако, кому-нибудь из нас случалось совершить подобную неловкость, прерывала: Увидите, все еще переменится. И чтобы сменить тему, обращалась к отцу: Вкусно, Самуил?

Отец не особенно стремился терзать себя. Даже пересаливал с хорошими известиями. Как-то после одной облавы, когда с десятков мужчин, благодаря взяткам, выпустили на свободу, он, сияя, уверял, будто знает из верного источника, что всех мужчин старше сорока лет, а может, младше, с образованием или без, по той или иной какой причине освободили как бы то ни было, это очень обнадеживающий симптом. Когда из города приходили уже однозначно плохие вести, он садился за стол в подавленном состоянии, но уже за супом приободрялся. А во время второго блюда, которое теперь чаще всего состояло из одних овощей, его настроение настолько улучшалось, что он переходил к беззаботной болтовне.

Генрик и Регина обыкновенно бывали погружены в себя. Регина внутренне настраивалась на работу, куда ходила после обеда. Она служила в одной из адвокатских контор. Зарабатывала гроши, но делала все так добросовестно, как будто это были тысячи. А Генрику если и удавалось отвлечься от своих мыслей, то только затем, чтобы затеять со мной ссору. Некоторое время он бросал на меня негодующие взоры, потом пожимал плечами и, наконец, бормотал с возмущением:

Нужно быть законченной обезьяной, чтобы носить такие галстуки, как Владек!

Сам ты обезьяна, да к тому же еще и осел! отвечал я, и ссора разгоралась не на шутку.

Он не хотел понять, что, выступая перед публикой, я должен был хорошо одеваться. Ничего из того, что касалось меня и моих дел, он не воспринимал. Теперь, когда его уже давно нет в живых, я знаю, что мы по-своему любили друг друга, несмотря на то что часто препирались. В сущности, мы были очень похожи.

О Галине я почти ничего не могу сказать. Она единственная из всей семьи жила как бы вне ее. Была скрытной и, появляясь в доме, никак не показывала, что происходит внутри нее, что волнует. Каждый день она просто садилась за стол, не проявляя, казалось, никакого интереса к нашим проблемам. Не могу сказать, какой она была на самом деле, и никогда уже не узнаю.

Наши обеды были очень скромными. Мать старалась экономить на всем. Мяса мы почти совсем не видели. И все же наши трапезы были поистине королевскими по сравнению с тем, что лежало на тарелках у других обитателей гетто.

Однажды зимой, влажным декабрьским днем, когда под ногами хлюпала грязь со снегом и дул резкий ветер, я стал случайным свидетелем обеда одного старика, из тех, кого называли в гетто ловцами. Это были люди, впавшие в такую бедность, что им приходилось красть, чтобы выжить. Они бросались к прохожему, несущему какой-нибудь сверток, выхватывали его и убегали в надежде, что найдут там что-нибудь съедобное.

Я пересекал Банковскую площадь, а в двух шагах впереди меня шла какая-то бедная женщина, обхватив левой рукой кастрюлю, завернутую в газеты. Между мной и женщиной плелся, трясясь от холода, какой-то старый оборванец со сторбленными плечами, волоча по грязи дырявые ботинки, из которых торчали серо-фиолетовые ноги. Внезапно старик бросился вперед, вцепился в кастрюлю и попытался вырвать ее из рук женщины. То ли у него не хватило сил, то ли женщина держала кастрюлю слишком крепко, но ему не удалось завладеть добычей, она упала на тротуар, и густой суп, от которого валил пар, вылился на грязную улицу.

Мывсе трое застыли на месте. Женщина от ужаса онемела, ловец уставился на кастрюлю, потом на женщину, а из его груди вырвался вздох, похожий на стон. Внезапно он бросился в грязь и начал лкать суп прямо с тротуара, закрывая его с двух сторон руками так, чтобы не пропало ни капли, и не чувствуя, как женщина пинает его по голове, крича и в отчаянии рвя на себе волосы.

6 ПОРА ДЕТЕЙ И СУМАСШЕДШИХ

Во время войны я снова начал работать пианистом в кафе Современник на улице Новолипки, в самом центре варшавского гетто. Еще до конца 1940 года, когда был перекрыт выход из гетто, мы уже продали все, даже самое ценное, что у нас было, рояль. Жизнь заставила меня преодолеть апатию и искать заработка. Для меня это стало благом. Работа оставляла меньше времени на размышления, а сознание того, что от моих усилий зависит существование всей семьи, помогло мне справиться с депрессией.

Рабочий день начинался после полудня. Я шел в кафе кривыми улочками, расположенными в центре гетто, а когда мне хотелось посмотреть на захватывающее зрелище работу контрабандистов, я выбирал путь вдоль стены.

Послеобеденное время было самым подходящим для контрабанды. Солдаты, уставшие от утренних заданий и довольные наживой, теряли бдительность все их мысли поглощал подсчет прибыли. В подворотнях и окнах домов, выходящих на стену гетто, мелькали тревожные тени людей, которые с нетерпением прислушивались к тарыхтению подъезжавшей телеги. Когда этот звук усиливался и телега подходила совсем близко, раздавался условный свист, и через стену летели мешки и посылки. Из подворотен выбегали получатели, поспешно хватали свою добычу, и скрывались в подворотнях снова наступала обманчивая тишина, полная нервного ожидания и таинственных шепотов. В те дни, когда солдаты более добросовестно выполняли свои обязанности, стук телег сопровождался звуками выстрелов, а из-за стены вместо мешков летели гранаты. Их оглушительные разрывы приводили к большим разрушениям.

Стена почти по всей своей длине была проложена далеко от проезжей части. В ней на определенном расстоянии друг от друга над самой землей были проделаны продолговатые отверстия, служившие для стока воды с арийской части улицы в канализационные люки, расположенные вдоль тротуаров в гетто. Этими отверстиями пытались воспользоваться дети для мелкой контрабанды. Маленькие существа на тоненьких, как спички, ножках сбегались сюда со всех сторон и, украдкой стрельнув испуганными глазами вправо и влево, тянули слабыми ручонками через эти стоки мешки, которые часто были больше них самих.

Когда весь груз оказывался на территории гетто, эти малыши взваливали его себе на спину и, согнувшись в три погибели, с набухшими от напряжения голубыми жилками на висках, шатаясь и тяжело дыша открытым ртом, бежали врассыпную, как испуганные крысы.

Однажды, идя вдоль стены, я увидел такого маленького еврейского мальчика, чье предприятие вот-вот должно было увенчаться счастливым концом. Ему оставалось только проскользнуть через водосток вслед за своим товаром.

Щуплая фигурка мальчика уже наполовину показалась из отверстия в стене, как вдруг ребенок начал пронзительно кричать. Одновременно с арийской стороны донесся хриплый крик немецкого жандарма. Я подбежал к мальчику, чтобы помочь, но, как назло, его бедра никак не проходили в отверстие водостока. Я тянул его изо всех сил за плечи, а он кричал все отчаяннее. С той стороны стены долетали отзвуки тяжких ударов каблуками. Когда, в конце концов, мне удалось вытащить ребенка, он умер у меня на руках. У него был перебит позвоночник.

В перебрасываемых через стену мешках и посылках были в основном пожертвования от поляков в пользу беднейших евреев. Но основной поток контрабандного снабжения гетто находился под контролем таких тузов, как Кон и Геллер. Здесь все шло гладко, без осложнений и без малейшего риска. Просто в определенное время подкупленные охранники теряли способность видеть, и у них под носом, с их молчаливого согласия, через ворота проезжали обозы с продовольствием, дорогим алкоголем, деликатесами и табаком прямо из Греции или с

французской конфекцией и косметикой.

Выставку этих товаров я мог ежедневно наблюдать в Современнике. Туда приходили богачи, увешанные золотом и бриллиантами; там же, за столиками, уставленными яствами, под звуки стреляющих пробок от шампанского дамы с ярко накрашенными губами предлагали свои услуги военным спекулянтам. Здесь я утратил две иллюзии: одну о человеческой солидарности и другую о музыкальности евреев.

Нищим не разрешалось стоять перед Современником. Толстые швейцары прогоняли их палками.

В колясках прибывающих сюда рикш сидели, раскинувшись, изящные господа и дамы, зимой одетые в дорогие шерстяные костюмы, летом во французских шелках и дорогих шляпах. Чтобы попасть на территорию, охраняемую швейцарами с палками, им приходилось, кривясь от негодования, самим прокладывать себе путь тростью через толпу попрошаек. Они никогда не подавали милостыни. С их точки зрения, милостыня развращает. Просто пусть идут работать, как они, и зарабатывать такие же деньги. В конце концов, это может делать каждый, и каждый, кто не сумел организовать свою жизнь, только сам виноват в этом.

Они приходили сюда по делам, занимали столики в просторном зале и принимались жаловаться на тяжелые времена и отсутствие солидарности со стороны американских евреев. И правда, что такое? Здесь люди умирают без куска хлеба, страшные вещи происходят, а по другую сторону океана американская печать все это замалчивает, еврейские же банкиры не делают ничего, чтобы Америка объявила Германии войну, хотя легко могли бы этого добиться, было бы желание.

В Современнике на мою игру никто не обращал внимания. Чем громче я играл, тем громче разговаривали посетители, и каждый день я соревновался с публикой кто кого сумеет заглушить. Дошло до того, что как-то раз один из посетителей через официанта попросил меня ненадолго прерваться я мешал ему оценить подлинность золотых двадцатидолларовых монет, минуту назад купленных у кого-то из сидящих за соседним столиком. Он собирался ударить монетой о мраморную столешницу и вслушаться в звук этой единственно важной для него музыки.

Я не смог здесь долго работать. К счастью, мне удалось получить место в заведении совершенно другого рода, кафе на Сенной, куда приходила еврейская интеллигенция послушать мою игру. Здесь я приобрел популярность и познакомился с людьми, вместе с которыми мне довелось потом пережить немало и хорошего, и плохого. Постоянным посетителем этого кафе был художник Роман Крамштык, исключительно одаренный человек, друживший с Артуром Рубинштейном и Каролом Шимановским. Он работал над замечательной серией гравюр на тему жизни гетто, не предчувствуя своей гибели и того, что большая часть этих работ бесследно пропадет.

В кафе на Сенной бывал также один из самых благородных людей, кого мне довелось встретить в жизни, Януш Корчак. Он писал книги, когда-то дружил с Жеромским и был знаком почти со всеми наиболее интересными участниками Молодой Польши, о которых рассказывал просто и занимательно. Его не считали писателем первого ряда, может быть, потому, что его литературные заслуги относились к довольно специфической области. Он писал исключительно для детей или о детях. Книжки Корчака отличало глубокое знание детской психологии, они писались не в целях самовыражения, а были потребностью души прирожденного воспитателя и общественного деятеля. Главным было не то, как он писал, а то, как он жил. Каждую свою минуту и каждый имевшийся у него злотый с первого дня своей профессиональной деятельности Корчак посвящал интересам детей. Эта его позиция оставалась неизменной до самой смерти. Он организовывал дома для сирот, многократно проводил сбор пожертвований для нуждающихся детей, обращался как Старый Доктор к детям по радио, что принесло ему большую

популярность, и не только среди детей. Когда гетто уже изолировали от мира, он добровольно пришел в него, хотя мог этого избежать. В гетто он по-прежнему исполнял свою миссию, заменяя отца десяткам еврейских детей-сирот, самых одиноких и обездоленных на свете. Беседуя с ним на Сенной, мы и представить себе не могли, каким прекрасным и полным самопожертвования жестом он закончит свою жизнь.

Через четыре месяца я перешел в кафе Искусство, которое находилось на улице Лешно. Это было самое большое в гетто заведение такого рода. Сюда приходили не только перекусить. В зале Искусства проводились концерты, здесь пела Мария Эйзенштадт, которая несомненно завоевала бы огромную популярность среди миллионов людей, если бы ее не убили немцы. Я выступал там вместе с Анджеем Гольдфедемом и имел большой успех, исполняя свой парафраз вальса из Казановы Людомира Ружицкого на слова Владислава Шленгеля. Этот поэт выступал там ежедневно: вместе с Леонидом Фокчанским, певцом Анджеем Властом, известным сатириком Адвокатом Вацусем и с Полей Браун они вели Живой дневник забавную хронику гетто, полную острых скрытых намеков в адрес немцев. Рядом с концертным залом был расположен бар, где люди, интересовавшиеся не столько искусством, сколько едой и выпивкой, могли заказать отличные напитки и вкуснейшие *cotelettes de volaille* или *boeufs a la Strogonoff*. И в концертном зале, и в баре почти всегда все места были заняты. Я тогда прилично зарабатывал и мог, пусть и не без проблем, содержать нашу семью из шести человек.

Тут в перерывах между выступлениями я встречал множество знакомых, с которыми можно было поговорить, и мне бы здесь даже нравилось, если бы не постоянно мучившая меня мысль об обратном пути домой.

Шла тяжелая для гетто зима 1941/1942 года. Островки относительного благополучия еврейской интеллигенции и роскоши спекулянтов тонули в море еврейской нищеты, уже тогда доведенной до крайности голодом, холодом и вшами. Гетто кишело насекомыми, и уберечься от них было невозможно. Вши были везде на одежде прохожих, внутри магазинов и трамваев, вши ползали по тротуарам, жили на лестницах домов, падали с потолков официальных учреждений, куда приходилось обращаться по многим вопросам. Вши прятались в сгибах газет, на монетах и даже на свежем хлебе, и каждое из этих существ могло быть носителем сыпного тифа.

В гетто началась эпидемия В месяц умирало до пяти тысяч человек. Тиф был главной темой разговора у всех богатых и бедных: бедные гадали, когда от него умрут, а богатые как от него защититься и где достать вакцину доктора Вейгеля, выдающегося бактериолога, ставший фигурой не менее известной, чем Гитлер.

То были два символа добра и зла противостоящих друг другу. Говорили, что доктора арестовали во Львове, но, слава Богу, не убили, а тут же признали пранемцем *honoris causa*, предложили прекрасную лабораторию, виллу и превосходный автомобиль, но при этом установили за ним надзор гестапо, тоже превосходный. Вейгель должен был производить как можно больше вакцины для завшивевшей немецкой армии на восточном фронте.

Говорят, доктор не принял ни виллы, ни автомобиля. Не знаю, как было на самом деле. Знаю только, что доктор выжил и немцы, после того как он открыл им рецепт своей вакцины, и перестал быть нужен, каким-то чудом все же не отправили его в одну из своих превосходных газовых камер.

В любом случае, благодаря его открытию и немецкой коррупции, многие варшавские евреи избежали смерти от тифа, хотя потом им все равно довелось умереть иной смертью.

Я не стал прививаться. Моих средств хватало на одну-единственную дозу вакцины, другие члены семьи оставались без нее. Так я поступить не мог.

О том, чтобы вовремя хоронить умерших от тифа, не могло быть и речи. Дома их тоже не оставишь. Люди шли на компромисс: раздетых мертвецов одежда теперь была в цене

оборачивали бумагой и складывали на тротуар перед домом. Там они лежали, нередко по многу дней, затем местные власти забирали их, и хоронили на кладбище в общих могилах.

Из-за этих, умерших от тифа или от голода людей, мои возвращения домой превращались в кошмар. Я уходил с работы одним из последних, вместе с хозяином, после подсчета дневной выручки и получения своего жалованья. Было темно, улицы почти пусты. Я светил себе фонариком, чтобы не споткнуться о мертвое тело. Холодный январский ветер дул в лицо или толкал в спину, шелестел бумагой, в которую были завернуты трупы, приподнимал ее, обнажая высохшие кости, тощие ноги, запавшие животы, ощерившиеся рты или уставившиеся в пустоту глаза.

Тогда я еще не привык видеть трупы. Полный страха и отвращения, я пробирался по улицам, чтобы как можно скорее оказаться дома, где меня ждала мать с блюдцем спирта и пинцетом. В то опасное время она старалась как можно лучше заботиться о здоровье семьи. Мать никого не впускала в дом дальше прихожей, где тщательно проверяла пальто, шляпу и костюм и собирала вещи, которых затем топила в спирте.

Весной, поближе сойдясь с Романом Крамштыком, я часто после работы, вместо того чтобы идти домой, шел к нему на Электоральную, где мы болтали до поздней ночи.

Хозяин этой квартиры был счастливчиком. Он жил в своем собственном маленьком королевстве. Комнатка с покатым потолком на последнем этаже доходного дома хранила все богатства, которые ему удалось сберечь, несмотря на грабежи немцев: широкий диван, покрытый килимом, два антикварных кресла, чудесный комодик в стиле ренессанс, персидский ковер, старинное оружие, несколько картин и множество мелких вещиц, в течение ряда лет привозимых сюда из разных частей Европы. Каждая из них была настоящим произведением искусства и радовала глаз. Хорошо было сидеть в этой комнатке, попивая кофе и весело болтая при желтоватом приглушенном свете лампы, украшенной колпачком, сделанным когда-то самим хозяином. Перед сумерками мы ненадолго выходили на балкон подышать свежим воздухом, который здесь, высоко, был чище, чем в запыленном и удушливом лабиринте тесных улиц.

Приближался комендантский час, люди закрывались в домах, низкое весеннее солнце заливало розовым светом крытые железом крыши домов; в голубом небе чертили круги большие стаи белых голубей, а из расположенного неподалеку Саксонского сада плыли над домами и попадали сюда, в обиталище проклятых, волны аромата сирени. Приближалось время детей и сумасшедших.

Мы с Романом вглядывались в глубину Электоральной улицы, ожидая появления дамы с плюмажем, как мы называли нашу помешанную. Вид у нее был необыкновенный. На щеках ярко-розовые румяна, брови от виска до виска соединены одной линией шириной в сантиметр. На черное разорванное платье накинута старая зеленая бархатная портьера с кистями, а из соломенной шляпы вертикально торчит большое фиолетовое страусиное перо, которое чуть кольщется в такт поспешным и неверным шагам безумной. Она то и дело останавливала прохожих и спрашивала их, вежливо улыбаясь, о муже, убитом немцами на ее глазах:

Извините Вы случайно не видели Исаака Шермана? Такого высокого элегантного мужчину с седой бородкой и напряженно всматривалась в лицо прохожего, а когда слышала отрицательный ответ, восклицала разочарованно:

Ах нет? и на мгновение ее лицо стягивала болезненная гримаса, но тут же исчезала в учтивой принужденной улыбке, Прошу прощения, уважаемый, и быстро уходила, качая головой от неловкости за то, что отняла время, и вместе с тем удивляясь, как можно было не знать ее мужа Исаака, такого изысканного и приятного мужчину.

Обычно вэто время на Электоральной появлялся Рубинштейн. Крутя тростью, он бежал

вприпрыжку по улице в грязных, развевающихся на ходу лохмотьях и мурлыкал что-то себе под нос. Рубинштейн пользовался в гетто большой популярностью. Его можно было узнать издали, едва заслышав его обычную присказку: Давай, держись! Он хотел одного помочь людям сохранить присутствие духа. Его анекдоты и шутки ходили по всему гетто, поднимая людям настроение. Одним из его трюков было приблизиться к немецкому патрулю и, дергаясь и гримасничая, обзывать их дураками, бандитами и шайкой воров. Немцы от души забавлялись и часто бросали Рубинштейну мелочь и сигареты в качестве платы за его оскорбления, ведь к сумасшедшему нельзя относиться серьезно. Я, в отличие от немцев, сомневался и сомневаюсь до сих пор, действительно ли он разделил участь множества людей, в результате пережитых ужасов потерявших рассудок, или же только изображал полоумного, чтобы шутовской колпаком помог ему избежать смерти. Это, впрочем, ему все равно не удалось.

Помешанные игнорировали комендантский час. Для них он не существовал. Дети вели себя так же. Из разных закоулков, подвалов, сеней мест их ночевки выныривали детские тени в надежде, что, может быть, в этот предвечерний час им удастся пробудить жалость в людских сердцах. Они вставали под уличными фонарями, вдоль тротуаров, на мостовой и, глядя на вас снизу вверх, монотонно стонали, что они голодны. Кто мог, пробовал петь. Тонкими, слабыми голосками пели они о молодом солдате, раненом на поле боя, умирающем в полном одиночестве и зовущем: Мама! Но мамы рядом нет. Она далеко и не узнает, что сын умирает, его качает лишь мать-земля, успокаивая шелестом деревьев и трав: Спи, сыночек, спи, любимый!, а вместо креста За заслуги на мертвую грудь падает с дерева цветок его единственная награда.

Другие дети пытались взывать к совести прохожих, убеждая: Мы в самом деле очень, очень голодные. Мы уже давно ничего не ели. Дайте нам кусочек хлеба или хотя бы картошку или луковицу, чтобы дожить хотя бы до завтрашнего дня.

Но почти ни у кого не было этой одной луковицы, а у тех, у кого она была, не было сердца. Война превратила его в камень.

7 ЖЕСТ ГОСПОЖИ К

Ранней весной 1942 года облавы, уже вошедшие в систему, вдруг прекратились. Если бы это случилось на два года раньше, люди могли бы почувствовать облегчение, порадоваться, вновь обрести надежду, что жизнь станет легче. Но после двух с половиной лет сосуществования с немцами никто уже не имел иллюзий. Если они перестали на нас охотиться, то только потому, что им в голову пришла идея получше. Возникал вопрос: какая? Люди терялись в догадках, а воображение не только не успокаивало, но тревожило их все сильнее.

Тем не менее, пока еще можно было спать спокойно у себя дома, а не бегать ночевать в амбулаторию при малейших признаках опасности. Там Генрик спал на операционном столе, а я в гинекологическом кресле и, просыпаясь по утрам, видел перед собой развешанные сушиться рентгеновские снимки больных сердец, легких, съеденных туберкулезом, камней в желчных пузырях и сломанных костей. Наш знакомый врач, заведовавший этим кабинетом, справедливо полагал, что даже во время самой большой облавы гестаповцам никогда и ни при каких обстоятельствах не придет в голову мысль искать кого-то здесь. Только в таком месте можно было ночью чувствовать себя в безопасности.

Видимость полнейшего покоя сохранялась до самого апреля, когда где-то во второй половине месяца, в пятницу, по гетто прокатился ураган страха. На первый взгляд беспричинного, потому что на вопрос, что должно случиться и откуда паника, никто не мог сказать ничего определенного. Несмотря на это, сразу после обеда закрылись все магазины, а люди попрятались по домам.

Я не знал, будут ли работать кафе. Поэтому отправился, как обычно, в Искусство, но там все было наглухо заперто. По дороге домой мое нервное напряжение достигло предела, тем более что на все попытки расспросить людей, обычно хорошо осведомленных, я ничего не смог выяснить. Никто ничего не знал.

До одиннадцати вечера мы сидели одетые, ожидая развития событий, но, поскольку на улице все было спокойно, решили лечь спать. Мы не сомневались, что причиной паники стали беспочвенные слухи. Утром первым вышел из дома отец, но скоро вернулся назад бледный и испуганный: немцы ночью вламывались во многие дома. Вывели на улицу семьдесят мужчин и тут же расстреляли. Неубранные трупы так и лежат на улице.

Что это могло значить? Что эти люди сделали? Мы были потрясены и возмущены.

Объяснение последовало только к вечеру. На пустынных улицах были расклеены объявления. Немецкие власти сообщали, что были вынуждены очистить район от нежелательных элементов, но эта акция не направлена против лояльной части населения, магазины и кафе должны немедленно возобновить работу, а людям надо вернуться к нормальной жизни, им ничего не угрожает.

И правда, следующий месяц прошел спокойно. Был май, и даже в немногочисленных садах гетто цвела сирень, а цветы акаций день ото дня становились все белее и собирались вот-вот распуститься. В это время немцы снова о нас вспомнили. Правда, на этот раз вырисовывалась одна маленькая деталь: они намеревались заняться нами не сами, а проведение облав было вменено в обязанность еврейской полиции и еврейской бирже труда.

Генрик был прав, не желая вступать в полицию и называя ее бандой бандитов. Там работали в основном молодые люди из обеспеченных семей. Среди них было много наших знакомых, и нас охватывало омерзение, тем большее, чем яснее мы видели, как некогда приличные люди, которым еще недавно подавали руку и относились по-дружески, оскотинивались на глазах. Заражались духом гестапо, так, наверное, следовало бы это назвать.

Надевая полицейскую форму и беря палку, они в ту же минуту обращались в зверей. Главнейшей их целью было налаживать отношения с гестаповцами, прислуживать им, красоваться вместе с ними на улицах, рисоваться знанием немецкого языка и демонстрировать хозяевам жестокость по отношению к евреям. Это не помешало им организовать полицейский джазовый оркестр, весьма, впрочем, недурной.

В мае во время большой облавы они с рвением, достойным настоящих эсэсовцев, окружили улицы и бегали в своих шикарных мундирах, грубо орали, подражая немцам, и, так же как те, били людей резиновыми дубинками.

Я был еще дома, когда вбежала мать с известием, что Генрик попал в облаву и его взяли. Я решил во что бы то ни стало его освободить. Рассчитывать мог лишь на свою популярность пианиста, потому что даже документы у меня были не в порядке. Пробившись через несколько полицейских оцеплений меня то задерживали, то снова отпускали, я в конце концов оказался у здания биржи труда. Полиция согнала сюда со всех сторон толпу мужчин. Они стояли, как овцы, сбитые в кучу собаками-пастухами, и это стадо увеличивалось с каждой минутой за счет тех, кого хватили на соседних улицах. Я с трудом пробился к заместителю директора и вырвал у него обещание, что Генрик еще до наступления сумерек вернется домой.

Так и случилось, только как гром среди ясного неба Генрик был на меня в бешенстве! С его точки зрения, я не должен был унижаться и о чем-либо просить таких мерзавцев, как эти из полиции и с биржи труда.

Было бы лучше, если б тебя увезли?!

Пусть это тебя не волнует, пробурчал он. Это меня бы увезли. Не лезь не в свои дела

Я пожал плечами. Что толку спорить с чокнутым?

Вечером было объявлено, что начало комендантского часа переносится на двенадцать ночи, чтобы семьи тех, кого посылают на работу, успели принести им смену белья, одеяла и продукты на дорогу. Это было поистине трогательное проявление великодушия со стороны немцев, которое еврейские полицаи всячески подчеркивали, чтобы завоевать наше доверие.

Гораздо позже мне довелось узнать, что тысячу схваченных тогда мужчин вывезли из гетто напрямик в Треблинку, чтобы испытать на них эффективность новехоньких газовых камер и крематориев.

Следующий месяц опять прошел спокойно, вплоть до памятного дня июньской резни в гетто. Мы и помыслить не могли, что нас ждет. Стояла жара, поэтому после ужина мы подняли шторы и широко открыли окна, чтобы немного подышать свежим вечерним воздухом. Машина гестапо подъехала к дому напротив, и раздались предупредительные выстрелы все произошло настолько быстро, что не успели мы встать из-за стола и подбежать к окну, как ворота этого дома уже были распахнутые настежь, а изнутри доносились крики эсэсовцев. В открытых окнах не было света, но чувствовалось, что там царят суэта и беспокойство, из темноты выныривали перепуганные лица и снова исчезали в ней. Окна квартир освещались по мере того, как немцы поднимались с этажа на этаж. Напротив нас жила семья торговца, мы часто их видели. Когда и там зажегся свет и эсэсовцы в касках с автоматами наперевес ворвались в комнату, ее обитатели, замерев от ужаса, сидели за столом, так же как и мы минуту назад. Унтер-офицер, командовавший отрядом, воспринял это как личное оскорбление. Он аж задохнулся от негодования. Какое-то время он стоял, в упор глядя на сидящих за столом и не произнося ни слова, пока наконец не рявкнул:

Встать!

Все вскочили, за исключением отца семейства, старика с парализованными ногами. Унтер-офицер просто кипел от злости. Подойдя к столу, он оперся о него обеими руками, вперил неподвижный взгляд в парализованного и проревел:

Встать!

Старый человек в отчаянной попытке подняться схватился за ручки кресла, но безуспешно. И прежде чем мы поняли, что произошло, немцы бросились на старика, подняли его вместе с креслом, вынесли на балкон и бросили с третьего этажа вниз. Мать закричала, закрыв лицо руками. Отец отбежал от окна подальше в глубь комнаты. Галина поспешила к нему, а Регина обняла мать и приказала громко и очень отчетливо:

Спокойно!

А мы с Генриком не могли оторваться от окна. Еще какую-то секунду старик находился в воздухе, потом выпал из кресла, и мы услышали два удара: один кресла о мостовую и другой человеческого тела о плиты тротуара.

Мы стояли окаменев, не в силах ни отойти, ни отвернуться, и смотрели на эту сцену. А в это время эсэсовцы уже вывели на улицу десятка два мужчин, включили фары и заставили задержанных встать в освещенном месте. Потом включили мотор и приказали людям бежать перед машиной в кругу света от фар. Из окон дома доносились истерические крики, и в ту сторону из машины дали автоматную очередь. Бегущие падали, пули подбрасывали их вверх и переворачивали через голову или на бок словно для того, чтобы пересечь границу жизни и смерти, требовалось сделать исключительно трудный и сложный прыжок.

Только одному из бегущих удалось вырваться из круга. Он бежал изо всех сил, и нам показалось, что он сможет добежать до ближайшего угла. Но на этот случай на автомобиле имелся высоко закрепленный прожектор. Его включили, беглеца заметили, раздались выстрелы, и он тоже подпрыгнул вверх, поднял руки, на бегу выгнулся назад и упал на спину.

Эсэсовцы сели в машину, она тронулась с места и поехала вперед прямо по телам, трясясь на них, словно на мелких ухабах.

В эту ночь в гетто опять расстреляли сто мужчин, но эта акция уже не произвела такого впечатления, как в первый раз. Магазины и кафе на следующий день работали в обычном режиме.

Нечто другое теперь возбуждало всеобщий интерес: немцы нашли себе новое занятие начали ежедневно снимать нас на кино пленку. Зачем? Они вбегали в ресторан, приказывали официантам поставить на стол лучшие блюда и дорогой алкоголь, посетителям приказывали улыбаться, есть и пить, и это зрелище запечатлевали на пленке. В кинотеатре Фемина на улице Лешно снимали спектакли оперетты и выступления симфонического оркестра под управлением Мариана Нойтеха, которые проходили там раз в неделю. Председателю правления еврейской общины приказали организовать пышный прием и пригласить всех важных лиц гетто, и этот прием тоже зафиксировали на кино пленке. Однажды согнали мужчин и женщин в баню, всем приказали раздеться донага и мыться в общем помещении, и эту странную сцену тоже во всех деталях запечатлели на пленке.

Гораздо позже мне довелось узнать, что эти фильмы предназначались для заграницы, и для немцев в Германии. Если бы какие-то сведения накануне ликвидации гетто просочились наружу, эти фильмы призваны были развеять тревожные слухи, а также послужить доказательством, что евреям в Варшаве живется хорошо и еще, что они лишены нравственности и недостойны уважения, поскольку мужчины и женщины моются вместе, бесстыдно раздеваясь на глазах друг у друга.

Примерно в это время в гетто все настойчивее стали возникать пугающие слухи. Их источник всегда оставался неизвестным, и не было никого, кто мог бы подтвердить их достоверность. Несмотря на это, все им верили. Просто сами собой вдруг начинались разговоры, например, о том, в каких жутких условиях живут евреи в гетто Лодзи, где их заставили ввести в оборот свои собственные железные деньги, на которые вне гетто ничего не купишь, и теперь там люди

тысячами умирают с голоду. Некоторые принимали такие известия близко к сердцу, другие пропускали мимо ушей.

Прошло довольно много времени, толки о Лодзи прекратились и начались новые о Люблине и Тарнове, где будто бы евреев умерщвляли газом, во что, впрочем, никто не хотел верить. Более достоверной казалась информация о том, что гетто со всей Польши должны собрать вместе и разместить в четырех городах: Варшаве, Люблине, Кракове и Радоме. Потом вдруг разнеслась молва, что, наоборот, варшавское гетто будут вывозить на восток, транспортом по шесть тысяч человек в день. Некоторые утверждали, что эта акция давно бы уже началась, если бы не секретные переговоры в правлении общины, во время которых удалось убедить гестапо наверняка за взятку отказаться от нашего переселения.

18 июня, в субботу, мы с Гольдфедером должны были участвовать в концерте, организованном в кафе У фонтана на улице Лешно в пользу известного пианиста, лауреата конкурса им. Шопена Леона Борунского, больного туберкулезом и оказавшегося безо всяких средств к существованию в отвоцком гетто. Садик при кафе был переполнен. Собралось около четырехсот человек из элиты общества, включая тех, кто хотел ею казаться. Предыдущее массовое мероприятие все здесь постарались позабыть, а общее возбуждение объяснялось вполне прозаически: элегантные представительницы плутократии и изысканные парвеню сгорали от любопытства: поздороваается ли госпожа Л. с госпожой К. Обе дамы занимались благотворительностью, принимая активное участие в работе комитетов, созданных во многих богатых домах для помощи бедным. Эта деятельность была особенно приятна потому, что предполагала участие в многочисленных балах, где развлекались, танцевали и пили, а собранные в процессе этого деньги передавали на благотворительные цели.

Недоразумение между двумя дамами началось с происшествия, случившегося незадолго до этого в кафе Искусство. Обе женщины были очень красивы, каждая по-своему. Их взаимная ненависть была самой искренней, они всячески старались отбить друг у друга поклонников, среди которых наиболее привлекательным был Маврикий Кон хозяин трамвайных линий и гестаповский агент, человек с интересным, выразительным лицом актера.

В тот вечер в Искусстве обе дамы веселились от души. Сидя у бара в окружении поклонников, они стремились перецеголять одна другую в выборе самых изысканных напитков и снобистских шлягеров, исполняемых на заказ аккордеонистом джазового оркестра между столиками. Первой направилась к выходу госпожа Л., не подозревая, что шедшая в это время по улице опухшая от голода женщина упала и умерла прямо у дверей бара. Слепленная светом, госпожа Л., выходя, споткнулась о труп. Поняв, что произошло, она впала в шок и никак не могла успокоиться. Совершенно иначе повела себя госпожа К., которую уже успели обо всем уведомить. Остановившись на пороге, она как бы невольно вскрикнула от ужаса, но тут же, словно в порыве глубокого сочувствия, подошла к умершей, вынула из сумочки пятьсот злотых и подала их идущему за ней Кону со словами:

Сделайте мне одолжение, позаботьтесь о том, чтобы ее достойно похоронили.

Одна женщина из ее свиты шепнула так, чтобы все могли услышать:

Она просто ангел!

Госпожа Л. не могла простить этого госпоже К. На следующий день, назвав ее подлой бабищей, госпожа Л. заявила, что не собирается больше с ней здороваться. Сегодня обе должны были появиться в кафе У фонтана, и золотая молодежь гетто с любопытством ожидала, чем закончится дело.

В перерыве после первой части концерта мы с Гольдфедером вышли на улицу, чтобы спокойно выкурить по сигарете. Вместе мы выступали уже целый год и очень подружились. Сегодня и его уже нет, хотя, казалось, он имел больше шансов выжить, чем я! Это был не только

выдающийся пианист, но и юрист. Он закончил и консерваторию, и юридический, но из-за слишком высокой требовательности к себе пришел к выводу, что стать первоклассным музыкантом ему не удастся, поэтому начал работать адвокатом, а теперь, во время войны, вернулся к игре на рояле.

Благодаря своим способностям, обаянию и вкусу он был очень популярен и любим в довоенной Варшаве. Позднее ему удалось бежать из гетто и в течение двух лет скрываться в доме у писателя Габриэля Карского. Гольдфедера застрелили немцы в маленьком городке недалеко от разрушенной Варшавы за неделю до прихода Советской Армии.

Мы курили, болтали, и постепенно усталость покидала нас. Угасающий день был прекрасен! Солнце уже скрылось за домами, но его багряные отблески еще лежали на крышах домов и отражались в окнах верхних этажей. Ласточки чертили в небе, чья глубокая синева постепенно блекла, остывая. Толпа на улице редела, а золотистый и розово-багряный свет этого вечера делал ее не такой грязной и несчастной.

Заметив идущего к нам Крамштыка, мы обрадовались. Нам хотелось как-нибудь провести его на второе отделение концерта: он обещал написать мой портрет, и я собирался поговорить с ним на эту тему. Но Крамштык не поддался на наши уговоры. Он был сильно подавлен и полон самых черных предчувствий. Только что из верного источника он узнал, что выселение гетто неизбежно: по другую сторону стены для этого был организован и уже приступил к работе немецкий Vernichtungskommando (отдел уничтожения).

8 РАСТРЕВОЖЕННЫЙ МУРАВЕЙНИК

Тем временем мы с Гольфедером готовили дневной концерт, посвященный годовщине нашего дуэта. Он должен был пройти в саду кафе Искусство в субботу, 25 июля 1942 года. Присутствия духа мы не теряли. Нам очень хотелось, чтобы этот концерт состоялся, и не жалели усилий. Теперь, накануне концерта, мы просто не могли поверить, что его не будет. Нам казалось, что и на этот раз слухи о депортации окажутся беспочвенными. В воскресенье, 19 июля, я еще играл в саду одного кафе на улице Новолипки, даже не подозревая, что это мой последний концерт в гетто. В саду яблону негде было упасть, но настроение было невеселое.

После выступления я заглянул в Искусство. Было уже поздно, и зал опустел. Только персонал сновал туда-сюда, спеша закончить свою ежедневную работу. Я присел на минуту поговорить с барменом. У него был совершенно убитый вид, и распоряжался он как-то неуверенно, скорее для видимости.

Вы уже готовите помещение для нашего субботнего концерта? обратился я к нему.

Он посмотрел на меня, словно не понимая, о чем речь, и на его лице отразилось ироническое сочувствие: крутой поворот в судьбах гетто уже предопределен, а я пребываю в полном неведении об этом.

Вы в самом деле думаете, что к субботе мы еще останемся в живых? спросил он с нажимом, склонившись ко мне над столом.

Я уверен! ответил я.

Он схватил меня за руку и произнес с жаром так, будто мой ответ открывал перед ним новые перспективы спасения и его судьба могла зависеть от меня:

Если мы останемся в живых, можете прийти сюда в субботу и съесть за мой счет ужин, какой хотите, и здесь он на мгновение заколебался, но, видимо, решил идти до конца и продолжал: и можете заказать за мой счет лучшие вина, какие только есть в нашем подвале, и тоже сколько душе угодно!

Судя по слухам, акция должна была начаться в ночь с воскресенья на понедельник. Но ночь прошла спокойно, а в понедельник утром к людям опять вернулось хорошее настроение. Может, это все были сплетни?

Но вечером началась паника: последняя молва гласила, что этой ночью начнется выселение малого гетто на этот раз наверняка. Через мост, который построили немцы над улицей Хлодной, чтобы лишить нас последней связи с арийским районом, из малого гетто и большое потянулись толпы взбудораженных людей с вещмешками, огромными сундуками и с детьми на руках, стремясь загодя, до наступления комендантского часа, покинуть опасный район. Как всегда, мы решили положиться на судьбу и остались на месте. Поздно вечером соседи получили известие из комиссариата польской полиции о том, что уже объявлена боевая готовность. Значит, нехорошее предчувствие нас не обмануло. До четырех утра я не мог сомкнуть глаз, стоя у открытого окна, но и эта ночь прошла спокойно. Во вторник мы с Гольфедером пошли в правление общины. У нас еще оставалась надежда, что всеобойдется. Мы хотели получить официальную информацию о том, что немцы собираются сделать с гетто в ближайшие дни. Когда мы уже подходили к зданию, мимо нас проехала машина с открытым кузовом, там в окружении жандармов сидел начальник отдела здравоохранения еврейской общины полковник Кон, бледный, с непокрытой головой. Тут же мы узнали, что вместе с ним арестованы многие сотрудники еврейской администрации.

Начались жестокие облавы.

В тот же день произошел случай, потрясший всю Варшаву по обе стороны стены. Известный

польский хирург, светило в своей области, доктор Рашея, профессор Познанского университета, был приглашен в гетто для проведения сложной операции. Получив, как было принято в подобных случаях, пропуск в комендатуре немецкой полиции, он прошел к больному и уже приступил к операции, как в квартиру ворвались эсэсовцы, застрелили пациента, лежащего под наркозом на операционном столе, а потом хирурга и всех, кто был в доме.

В среду, 22 июля, около десяти часов утра, я вышел в город. На улице уже не чувствовалось такого напряжения, как накануне. Ходили слухи, что арестованных служащих еврейской администрации выпустили на свободу, это немного успокоило людей. Значит, немцы все же не собирались никого депортировать, поскольку все знали, что в провинции, где уже давно выселяли еврейские гетто, гораздо меньшие, чем варшавское, всегда начинали с роспуска администрации.

В одиннадцать я оказался недалеко от моста над Хлодной. Погруженный в размышления, я не заметил, что люди на мосту останавливаются, показывают куда-то и в сильнейшем возбуждении быстро расходятся. Только я собрался подняться по деревянным ступеням, как меня схватил за рукав знакомый, с которым мы давно не виделись.

Что вы здесь делаете? Он был очень взволнован, и, когда говорил, его нижняя губа тряслась, как у зайца. Скорее идите домой!

Что происходит?

Через час начнется

Быть не может!

Не может? сказал он с горечью и нервно захихикал. Развернул меня к перилам и махнул рукой в сторону Хлодной. Посмотрите сами!

По Хлодной под командованием немецкого унтер-офицера маршировал отряд солдат в незнакомой желтой форме. Сделав с десяток шагов, отряд останавливался, один из солдат покидал строй и оставался стоять в оцеплении вдоль стены гетто.

Украинцы

Нас обложили! скорее прорыдал, чем произнес мой знакомый, и, не прощаясь, сбежал по лестнице вниз.

В двенадцать начали выселять дома престарелых и инвалидов, а также обитателей ночлежек, где, как сельди в бочке, жили евреи, вывезенные из Германии, Чехословакии, Румынии, Венгрии и предместий Варшавы. После полудня уже везде висели объявления, извещавшие о начале переселения на восток всех неработоспособных евреев. Каждой имел право взять с собой двадцать килограммов багажа, запас еды на два дня и ювелирные украшения. Всех, кто способен работать, оставят на месте, в казармах, и пошлют работать на местные фабрики, принадлежащие немцам. От этой повинности освобождались только сотрудники еврейских общественных организаций и еврейской администрации.

Впервые такого рода сообщение не было подписано главой общины инженером Черняковым он покончил с собой, приняв цианистый калий.

Так началось самое ужасное депортация полумиллиона жителей Варшавы, казавшаяся настолько абсурдной, что в нее никто не мог поверить.

На первых порах эту акцию проводили по принципу лотереи. Окружали какие попало дома то в одной, то в другой части гетто, жителей по свистку сгоняли во двор, грузили на подводы и везли на Umschlagplatz всех без исключения, независимо от пола и возраста, начиная со стариков и кончая младенцами. Там всех заталкивали в вагоны и отправляли в неизвестность.

В первые дни этим занималась исключительно еврейская полиция во главе с тремя палачами: полковником Шеринским, капитаном Лейкиным и капитаном Эрлихом.

Они были так же безжалостны и опасны, как немцы, и даже, пожалуй, отличались еще

большей подлостью: найдя тех, кто вместо того, чтобы выйти во двор, прятался, они легко их отпускали, но только за деньги слезы, мольбы и даже отчаянные крики детей оставляли их равнодушными.

Магазины были закрыты. Все поставки продовольствия в гетто прекратились, поэтому уже через несколько дней здесь начался повальный голод. Но для нас главная проблема была в другом требовалось добыть справку о трудоустройстве. Это было важнее пищи.

Когда я хочу найти сравнение, наиболее точно характеризующее нашу жизнь в те трагические дни и часы, мне приходит в голову только одно растревоженный муравейник.

Когда какой-нибудь безмозглый идиот принимается безжалостно топтать то, что возвели муравьи, те разбегаются во все стороны и мечутся в поисках выхода. Оглушенные внезапно нападения или полностью поглощенные спасением потомства и своего добра, они кружатся на месте как отравленные и вместо того, чтобы бежать, по одним и тем же тропинкам все время возвращаются обратно и гибнут, не в силах разорвать смертельный круг. Так и мы

То, что было для нас трагедией, для немцев доходным бизнесом. В гетто немецкие фирмы множились, как грибы после дождя, и каждая из них была готова предоставить свидетельство о трудоустройстве конечно, за определенную сумму, достигавшую нескольких тысяч. Но эти цифры никого не испугивали. У дверей фирм выстраивались огромные очереди, особенно на таких больших фабриках, как Toeббeнс или Шульц. Счастливики, добывшие свидетельство о найме, прикрепляли к своей одежде небольшие карточки с названием организации, где якобы работали. Они надеялись, что это поможет им избежать депортации.

Я легко мог достать такую бумагу, но опять же, как это было с прививкой от тифа, только для себя одного. Мои знакомые, даже те, кто имел прекрасные связи, и слышать не хотели о том, чтобы сделать такие справки для всех членов моей семьи. Шесть бесплатных справок это действительно было слишком, но заплатить за них, даже по самой низкой цене, я не мог. Мои заработки позволяли жить лишь сегодняшним днем все, что я получал, мы тут же проедали.

Первый день выселения застал меня с несколькими сотнями злотых в кармане. Мое бессилие повергало в отчаяние, особенно когда я видел, с какой легкостью мои более богатые знакомые обеспечивали безопасность своих семей. Опустившийся, небритый и голодный, я с утра до вечера носился из одной фирмы в другую, умоляя сжалиться. Лишь через шесть дней, пустив в ход все связи и знакомства, мне как-то удалось добыть эти справки.

Примерно за неделю до начала выселения я в последний раз встретил Романа Крамштыка. Он исхудал, и было заметно, каких усилий ему стоило скрывать свою нервозность. Увидев меня, он обрадовался.

Вы не в турне? Он пытался шутить.

Нет, ответил я коротко. Мне было не до шуток. Я задал вопрос, который все тогда задавали друг другу: Как вы думаете? Нас всех депортируют?

Он не ответил, только заметил уклончиво:

Вы плохо выглядите! И посмотрел на меня с сочувствием. Вы все принимаете слишком близко к сердцу.

А как иначе? пожал я плечами.

Он улыбнулся, закурил, чуть помолчал и добавил:

Вот увидите, в один прекрасный день все это закончится, он обвел рукой вокруг, ведь это бессмысленно

Он сказал это с милой и немного беспомощной уверенностью, как будто бессмысленность происходящего сама по себе могла служить достаточной причиной для перемен к лучшему. Они и не наступили.

Все становилось только хуже, особенно когда к делу подключились литовцы и украинцы.

Эти были столь же продажны, как еврейские полицаи, но на иной манер. Они брали взятки, а после этого сразу убивали тех, от кого получили деньги. Убивали в охотку: ради спорта или удобства в работе, для практики в стрельбе или просто ради развлечения. Убивали детей на глазах у матерей и забавлялись, видя их отчаяние. Стреляли людям в живот, чтобы наблюдать за их мучениями, или выстраивали свои жертвы в шеренгу и, отойдя на расстояние, бросали в них гранаты, чтобы проверить, кто точнее кидает. Во время каждой войны на поверхность всплывают определенные национальные группы. Слишком трусливые, чтобы бороться в открытую, и слишком ничтожные, чтобы играть какую бы то ни было самостоятельную роль, зато достаточно растленные, чтобы сделаться платными палачами при одной из воюющих держав.

В этой войне такую роль взяли на себя украинские и литовские фашисты.

В это же время платным агентам гестапо Кону и Геллеру пришел конец. Видно, не все предусмотрели или скупость подвела. Они взяли на содержание только одно из двух центральных управлений СС в Варшаве и, как нарочно, попали в лапы тех, кто служил в другом. Предъявленные документы, выданные конкурентами из параллельного управления СС, только привели их в бешенство. Те не просто расстреляли Кона и Геллера, но еще приказали вызвать мусоровоз, и в нем, среди мусора и отходов, оба туза отправились через все гетто в последний путь, к общей могиле.

Украинцы и литовцы перестали обращать внимание на свидетельства о трудоустройстве. Мои шестидневные усилия оказались напрасными. Нужно было действительно поступать на работу. С чего начать? Я пал духом. Целыми днями я валялся в постели, прислушиваясь к уличному шуму. Каждый стук колес по мостовой вызывал у меня панический страх. Это были телеги, на которых везли людей на Umschlagplatz другие здесь теперь не ездили, и каждая из них могла остановиться перед нашим домом, и в любой момент со двора мог долететь звук свистка. Я вскакивал с кровати, подбегал к окну и ложился снова. И опять бежал к окну. Из всей нашей семьи только я один демонстрировал такую позорную слабость. Может быть, именно потому, что только я, благодаря своей популярности, мог бы еще как-то спасти нас всех, и на мне лежал груз этой ответственности.

Родители, брат и сестры понимали, что бессильны что-либо сделать. Все свои силы они сосредоточили на том, чтобы держать себя в руках и создавать видимость нормальной жизни. Отец с утра до вечера играл на скрипке, Генрик занимался, Галина и Регина читали, а мать чинила белье.

Немцам пришла в голову очередная идея, как облегчить себе жизнь. На стенах домов появились объявления, что те, кто всей семьей добровольно явится для отправки на Umschlagplatz, получит буханку хлеба и килограмм мармелада на человека, причем семьи добровольцев не будут разлучены. Начался массовый наплыв желающих тех, кто голодал или надеялся отправиться в неизвестность и пройти весь тяжкий путь, уготованный судьбой, вместе с близкими.

Неожиданно нам помог Гольдфедер. У него была возможность взять несколько человек на работу по сортировке мебели и имущества из квартир тех, кого уже депортировали из гетто. Работать надо было недалеко от места общего сбора на Umschlagplatz. Он взял меня с отцом и Генриком, а после нам удалось перетащить к себе сестер и мать, которая не работала вместе со всеми, а вела на новом месте наше домашнее хозяйство. Хозяйство весьма скромное: каждый из нас получал в день полбуханки хлеба и четверть литра супа, и главное было постараться так распределить эту еду, чтобы обмануть голод.

Это была моя первая работа у немцев. С утра до вечера я таскал мебель, зеркала, ковры, нательное и постельное белье и одежду. Все эти вещи еще несколько дней назад имели своих

хозяев, создавали неповторимый уют в чьем-то доме, принадлежали разным людям с хорошим вкусом или лишенным оною, богатым или бедным, добрым или злым. Теперь эти вещи были ничьи, с ними обращались как попало. Иногда, беря охапку белья, я чувствовал нежный, слабый, как воспоминание, запах чьих-то любимых духов, да мелькали на белом фоне цветные монограммы. Впрочем, времени задумываться об этом у меня не было. Любое невнимание или минута промедления были чреваты не только болезненным ударом палкой или подкованным сапогом жандарма, но могли стоить жизни, как стало с теми молодыми людьми, которых расстреляли на месте за то, что они уронили и разбили парадное зеркало.

Утром 2 августа появился приказ, чтобы все, кто еще оставался в малом гетто, к шести часам вечера покинули его территорию. Мне удалось получить увольнение; на ручной тележке, что потребовало немало усилий, я вывез в казарму из квартиры на Слизкой немного нательного белья, свои сочинения, подборку рецензий на них и на свои выступления, а также скрипку отца. Это было все наше богатство.

Через несколько дней, кажется, 5 августа, мне удалось ненадолго вырваться с работы. Идя по Гусиной улице, я случайно стал свидетелем марша через гетто Януша Корчака со своими воспитанниками-сиротами.

В то утро Януш Корчак должен был выполнить приказ о выселении Дома сирот, которым руководил. Детей собирались вывозить одних, у него же была возможность спастись. Он с трудом упрощал немцев, чтобы они позволили ему сопровождать детей. Посвятив детям-сиротам долгие годы своей жизни, он хотел остаться с ними, чтобы облегчить им последний путь. Он объяснил сиротам, что их ждет приятное событие поездка в деревню. Наконец-то они смогут покинуть стены отвратительных душных комнат, чтобы отправиться на луга, поросшие цветами, к источникам, где можно купаться, в леса, где много ягод и грибов. Он велел детям получше одеться, и вот, радостные, нарядные, они выстроились парами во дворе.

Маленькую колонну сопровождал эсэсовец, который, как каждый немец, очень любил детей, а особенно тех, кого собирался отправить на тот свет. Больше всех ему понравился двенадцатилетний мальчик-скрипач с инструментом под мышкой. Немец приказал ему встать впереди колонны и играть. И так они тронулись в путь.

Когда я встретил их на Гусиной улице, дети шли весело, с песней, маленький музыкант им аккомпанировал, Корчак нес на руках двоих самых младших, они тоже сияли, а Корчак рассказывал им что-то смешное.

Наверное, в газовой камере, когда газ уже сдавил детские гортани, а вместо радости и надежды пришел страх, Старый Доктор из последних сил шептал им:

Это ничего, дети! Это ничего чтобы хоть как-то смягчить страх своих маленьких подопечных перед пересечением черты между жизнью и смертью.

16 августа 1942 года пришла наконец и наша очередь. На месте сбора произвели селекцию, и только Генрик и Галина были признаны все еще трудоспособными. Отцу, мне и Регине было велено вернуться в казармы, а когда мы пришли туда, здание оцепили, и раздался свисток

Сопrotивляться дальше не имело смысла. Я сделал все, что мог, чтобы спасти себя и близких. Несмотря на это, было ясно, что спастись невозможно. Может, хотя бы Генрику и Галине повезет больше

Мы одевались под доносившиеся со двора крики и выстрелы, которыми подгоняли людей. Мать собрала в котомку то, что было под рукой, и мы спустились вниз.

Перевалочный пункт находился на площади на окраине гетто. До войны это место, окруженное сетью грязных улиц, улочек и переулков, несмотря на свой неприглядный вид, хранило много сокровищ. По боковой ветке подходили сюда составы с товарами со всего света. За них вели торг еврей-коммерсанты, а потом со складов, расположенных в Пассаже Шимона и на улице Налевки, эти товары попадали в варшавские магазины. Сама площадь имела округлую форму и по краям была окаймлена где домами, а где забором. Сюда вели несколько боковых улочек, служивших удобным сообщением с городом. Теперь все выходы с площади, на которой могло поместиться до восьми тысяч человек, были перекрыты.

Когда мы оказались на Umschlagplatz, здесь еще почти никого не было. Был прекрасный жаркий день на исходе лета. Серо-голубое небо словно превратилось в пепел от жара, который шел от утрамбованной земли и отражался от стен домов. А палящее солнце выжимало из измученных тел последние капли влаги. Люди металась в безуспешных поисках воды.

Одна из улиц, выходящих на площадь, была пустынна. Все, с ужасом глядя на это место, обходили его стороной.

Там лежали тела тех, кого вчера убили за какое-то нарушение, может быть, даже за попытку бегства. Среди трупов мужчин лежали останки молодой женщины и двух девочек с разможенными черепами. Все показывали друг другу на стену, у которой лежали тела, она носила явные следы крови и мозгового вещества. Детей прикончили излюбленным немецким методом: схватили за ноги и разбили им головы о стену. По сгусткам крови и трупам, которые на глазах пухли и разлагались от жары, ползали большие черные мухи.

Вполне сносно разместившись, мы ждали поезда. Мать устроилась на узле с вещами, Регина сидела на корточках рядом с ней, я стоял, а отец нервно прохаживался взад и вперед, заложив руки за спину, четыре шага в одну сторону и четыре шага в другую. Только теперь, в ослепительном свете солнца, когда уже не было никакого смысла морочить себе голову какими-то химерическими планами спасения, я смог повнимательнее присмотреться к матери. Несмотря на кажущееся спокойствие, выглядела она нехорошо. Ее некогда прекрасные, всегда ухоженные волосы, в которых еще недавно не было ни одного седого волоса, теперь серыми космами падали на измученное, покрытое морщинами лицо. Черные, блестящие глаза как бы погасли изнутри, от правого виска к уголку рта шел нервный тик, которого я никогда раньше у нее не замечал. Этот тик свидетельствовал о том, как глубоко она переживала все, что творилось вокруг. Регина плакала, накрыв лицо руками, и слезы текли у нее между пальцами.

У въезда на площадь время от времени скапливались повозки, сюда пригоняли толпы людей, предназначенных для выселения. Вновь прибывшие не скрывали своего отчаяния: мужчины говорили на повышенных тонах, а женщины, у которых отобрали детей, рыдали и истерически всхлипывали. Но скоро и на них стал действовать царящий на Umschlagplatz настрой апатия и отупение. Они затихали, и только иногда кое-где вспыхивала паника, если какому-нибудь проходящему эсэсовцу захотелось пальнуть в кого-то, кто не слишком проворно посторонился или чье лицо не выражало полной покорности. Недалеко от нас сидела на земле молодая женщина. В разорванном платье, растрепанная, будто минуту назад с кем-то подралась. Сейчас она сидела спокойно, уставившись в одну точку с каменным лицом. Вцепившись в свое горло растопыренными пальцами, она время от времени выкрикивала монотонным голосом:

Зачем я его задушила?

Стоящий рядом с ней молодой мужчина, наверное муж, тихонько ее уговаривал, пытаюсь успокоить, но, по всей видимости, его слова не доходили до ее сознания.

Среди людей, согнанных на площадь, появлялось все больше знакомых. Подойдя, они здоровались и по привычке заговаривали с нами, но уже через минуту разговор иссякал. Знакомые отходили в сторону, чтобы оставшись наедине попытаться взять себя в руки.

Солнце поднималось все выше и припекало все сильнее, и нас все острее мучили голод и жажда. Последний раз мы ели вечером предыдущего дня суп с хлебом. Я не мог усидеть на месте и решил пройтись. Может, так будет лучше?

Народ все прибывал, становилось очень тесно и приходилось все время обходить группы сидящих и лежащих людей. Все говорили об одном и том же: куда нас повезут, действительно ли на работу, как пыталась внушить нам еврейская полиция.

В одном месте прямо на земле лежали старики мужчины и женщины, очевидно, из какого-то дома престарелых. Чудовищно худые, обессилевшие от голода и жары на грани жизни и смерти. Некоторые лежали, прикрыв глаза, и невозможно было понять, они уже умерли или умирают сейчас. Если нас высылают на работы, то что здесь делают эти старцы?

Женщины с детьми на руках переходили от одной группы к другой, умоляя дать хоть каплю воды, которую немцы умышленно перекрыли на Umschlagplatz. У детей были мертвые глаза с приспущенными веками, головы качались на худеньких шейках, а высохшие губы хватали воздух совсем как у рыбок, выброшенных рыбаками на берег.

Когда я вернулся к своим, они были уже не одни. К матери подседа наша добрая знакомая, а ее муж, бывший владелец большого магазина, присоединился к отцу. Вместе с ним стоял и другой наш общий знакомый врач-дантист, практиковавший недалеко от нашего дома, на Слизкой. Торговец, в общем, не терял бодрости духа, а дантист все видел в черном свете. Он нервничал и с горечью говорил, почти кричал:

Это позор для всех! Мы позволяем вести себя на смерть, как стадо овец! Если бы мы все полмиллиона человек бросились на немцев, гетто бы рухнуло. Пусть бы мы в крайнем случае погибли, но не остались в истории позорным пятном!

Отец слушал его, с добродушной улыбкой пожал плечами и нерешительно сказал:

А откуда вы знаете, что нас посылают на смерть? Дантист хлопнул в ладоши.

Разумеется, я не знаю. Откуда мне это знать? Не от них же! Но я на девяносто процентов уверен, что они всех нас прикончат.

Отец снова улыбнулся, будто этот ответ еще больше утвердил его в своей правоте.

Взгляните, сказал он и обвел рукой толпу на Umschlagplatz, мы никакие не герои. Мы обычные люди и поэтому, в надежде выжить, выбираем оставшиеся десять процентов.

Торговец поддерживал отца. Он совершенно не разделял точку зрения дантиста: немцы не так глупы, чтобы пренебречь таким количеством рабочих рук. Он предполагал, что нас ждут трудовые лагеря, возможно, самая тяжелая работа, но никто никого убивать, конечно, не собирается.

В это время его жена рассказывала Регине и матери про серебро, замурованное ею в подвале. Там были прекрасные и очень ценные вещи, и она надеялась их найти, вернувшись из ссылки.

Уже наступил полдень, и на площадь пригнали очередную группу выселенцев. Среди них мы с ужасом увидели Галину и Генрика. Значит, и им суждено разделить нашу участь. А ведь каким утешением была для нас мысль, что, по крайней мере, они останутся в живых.

Я бросился к Генрику наверняка это из-за его идиотской прямолинейности они с Галиной попали сюда. Я засыпал его вопросами и упреками, но разве я заслуживал какого-нибудь ответа? Он пожал плечами, достал из кармана маленькое оксфордское издание Шекспира, пристроился сбоку и погрузился в чтение.

Только от Галины мы узнали, как они тут оказались: услышав, что нас увезли на

Umschlagplatz, они добровольно пришли сюда, потому что хотели быть с нами.

Какой идиотский всплеск чувств с их стороны! Я решил спровадить их отсюда во что бы то ни стало, ведь они не были включены в списки депортированных и могли бы остаться в Варшаве.

Их привел сюда еврейский полицейский, с которым я был знаком по работе в Искусстве, и поэтому рассчитывал на то, что легко смогу воззвать к его совести, приняв во внимание, что формально никакой необходимости их вывозить не было. Но я просчитался. Он и слышать ни о чем не хотел. Каждый полицейский лично должен был привести на Umschlagplatz пять человек, иначе сам рисковал оказаться на нашем месте. Галина и Генрик входили в его сегодняшнюю пятерку. Он устал и освобождать никого не собирался, иначе ему снова пришлось бы идти ловить других. Да к тому же куда, к чертям, идти? Поймать кого-нибудь совсем не просто, говорил он, потому что люди не хотят содействовать полиции и прячутся. А кроме того, он сыт уже всем по горло.

Я вернулся к своим ни с чем. И эта последняя попытка спасти хотя бы часть нашей семьи не удалась, как, впрочем, и все предыдущие. В отчаянии я уселся рядом с матерью.

Было уже пять часов вечера, жара не спадала, а толпа все прибывала. Люди теряли друг друга в толчее и звали, но тщетно. С соседних улиц долетали звуки выстрелов и характерные крики облавы. По мере приближения минуты, когда должен был подойти поезд, напряжение росло.

Особенно невыносимо было слушать сидящую поблизости женщину, которая без устали повторяла: Зачем я его задушила? Мы уже знали, в чем было дело. Коммерсант сумел это разузнать. Когда всем приказали выходить, женщина вместе с мужем и ребенком спряталась в заранее подготовленном тайнике. Когда мимо проходила полиция, ребенок заплакал, и мать от страха удушила его своими руками. Плач и последовавший за ним хрип задохнувшегося ребенка слышали, и тайник обнаружили.

В какой-то момент к нам сквозь толпу протиснулся мальчик, продавец конфет, с ящиком на тесемках, перекинутых через шею. Продавал он конфеты по несусветным ценам, хотя один Бог знает, что он собирался делать потом с заработанными деньгами. Собрав последнюю мелочь, мы купили у него одну-единственную ириску, которую отец поделил перочинным ножом на шесть равных частей. Это был наш последний совместный ужин.

Ближе к шести часам на площади началось волнение. Подъехало несколько машин, и жандармы стали выбирать среди выселенцев молодых и сильных. Этим счастливицам, по всей видимости, собирались использовать в иных целях. Многотысячная толпа стала напирать в том направлении, люди кричали, расхваливая свои физические достоинства, и пробовали пробиться вперед. Немцы отвечали выстрелами. Дантист, который так и остался возле нас, не мог сдержать возмущения. Он со злостью атаковал моего отца, будто тот был виноват во всем.

Теперь-то вы мне поверите, что всех нас прикончат. Трудоспособные остаются здесь, а там нас ждет смерть!

Он пытался перекричать шум и стрельбу, его голос сорвался. Рукой он показывал в ту сторону, куда нас собирались увезти. Отец, расстроенный и взволнованный, не отвечал. Бывший владелец магазина пожал плечами и иронически улыбнулся: он не падал духом. Отбор пары сотен людей, с его точки зрения, ничего не доказывал.

Немцы наконец забрали тех, кто им был нужен для работы, и уехали, но волнение толпы не улеглось. Вскоре раздался свисток локомотива и стук колес приближавшегося поезда. Прошло еще несколько минут, и мы увидели состав. Наверное, больше десятка вагонов для скота медленно двигалось в нашу сторону, и порывы вечернего ветра оттуда доносили до нас резкий тошнотворный запах хлорки.

Одновременно цепь эсэсовцев и еврейских полицаев, окруживших площадь, сомкнулась и начала сжимать кольцо; раздались предупредительные выстрелы. Над тесной толпой разнесся плач женщин и детей.

Мы двинулись вперед. Чего ждать? Чем скорее мы окажемся в вагоне, тем лучше. Около поезда полицейские выстроились в ряд, создавая для толпы широкий коридор, имевший только один выход открытые двери вагонов, засыпанных хлоркой.

Прежде чем мы успели подойти к поезду, ближайшие вагоны были уже битком набиты, а эсэсовцы еще утрамбовывали их прикладами винтовок, не обращая внимания на крики задыхающихся внутри людей. И в самом деле, вонь от хлорки не давала дышать даже на порядочном расстоянии от поезда, каково же было в вагоне, где хлорка лежала на полу толстым слоем?

Мы прошли уже почти полпоезда, как вдруг я услышал чей-то возглас:

Смотри! Смотри! Шпильман!

Чья-то рука схватила меня за воротник и вышвырнула за кордон полиции.

Кто посмел так со мной обращаться? Я не хотел отставать от своих. Я хотел быть вместе с ними!

Передо мной были только спины полицейских, стоявших сомкнутой цепью. Я бросился на них, но они не двинулись с места. Через их головы я увидел, как мать с Региной, поддерживаемые Генриком и Галиной, садились в вагон, а отец озирался, ища меня.

Папочка! закричал я.

Увидев меня, он сделал несколько шагов в мою сторону, но тут же заколебался и остановился. Он был бледен, губы нервно дрожали. Отец попытался улыбнуться, улыбка вышла беспомощная и горькая, он поднял руку и помахал мне на прощание, словно я возвращался в жизнь, а он, уже по ту ее сторону, прощался со мной. Потом он отвернулся и пошел к вагону.

Я снова попытался прорвать цепь полицейских.

Папочка! Генрик! Галина!..

Я кричал как помешанный, боясь, что именно теперь, в этот решающий момент, я не доберусь до них и мы навсегда потеряем друг друга.

Один из полицейских обернулся и посмотрел на меня со злостью:

Что вы вытворяете? Лучше спасайтесь!

Спасайтесь? От чего? В одну секунду я понял, что ждало людей, затолканных в вагоны. Волосы у меня на голове встали дыбом. Я оглянулся вокруг: площадь была пуста, за железнодорожными путями и подъездными площадками зияли пролеты улиц.

Охваченный внезапным, совершенно животным ужасом, я бросился бежать. Мне удалось смешаться с колонной рабочих из гетто, которые как раз уходили с площади, и вместе с ними миновал шлагбаум.

Придя в себя, я заметил, что стою на узкой дорожке между какими-то домами. Из дома вышел эсэсовец в сопровождении кого-то из еврейской полиции. У эсэсовца было тупое наглое лицо, а полицейский просто лез из кожи вон, пресмыкаясь перед ним, лебезя и расплываясь в улыбках. Сделав жест в сторону поезда на Umschlagplatz, полицай сказал с товарищеской фамильярностью:

Все это идет на слом! в его тоне звучали презрение и издевка.

Я посмотрел туда: двери вагонов были уже закрыты, и поезд медленно, с трудом набирал ход.

Я отвернулся и, плача в голос, бросился бежать вдоль опустевшей улицы, преследуемый затихающим вдали криком запертых в вагонах людей, похожим на крик сбитых в кучу в тесных клетках птиц и чувствующих смертельную беду.

10 ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ

Я шел вперед, не разбирая дороги. Мне было все равно куда. Позади осталась Umschlagplatz и вагоны, увозящие моих родных. Я уже не слышал поезда теперь он был далеко от города, но все равно где-то внутри себя я ощущал, как он отдаляется. С каждым шагом я чувствовал себя все более одиноким. Безвозвратно уходило все, чем я жил до сих пор. Я не знал, что меня ждет, вернее, понимал, что самое худшее еще впереди. В казармы, где до сегодняшнего дня обитала наша семья, возвращаться нельзя было ни в коем случае. Эсэсовская охрана расстреляла бы меня на месте или отослала бы обратно на Umschlagplatz как человека, по ошибке избежавшего отправки вместе со всеми. Я совершенно не представлял, где переночевать, но в тот момент мне все было безразлично, и только где-то в подсознании таился страх перед сгущавшимися сумерками.

Улица была пустынна, ворота закрыты наглухо или, наоборот, открыты настежь в тех домах, откуда уже вывезли всех жителей. Навстречу мне шел кто-то в форме еврейской полиции. Мне было безразлично. Я не обратил бы на него внимания, но он сам остановился и позвал:

Владек!

Я тоже остановился, а он спросил с удивлением:

Что ты тут делаешь в такое время?

Теперь я его узнал. То был мой кузен, которого наша семья недолюбливала. Его сторонились, как человека с сомнительными моральными принципами. Он умел выкрутиться из любого положения, всегда выходил сухим из воды, нередко прибегая к средствам, которые в глазах других людей считались неподобающими. Когда он стал полицейским, его плохая репутация только упрочилась.

Как только я узнал его в мундире, все эти мысли в одно мгновение пронеслись у меня в голове, но уже в следующую минуту я почувствовал, что все же он был кузеном, а теперь единственным близким мне человеком. Тем, кто имел к моей семье хоть какое-то отношение.

Ты знаешь Я хотел рассказать о том, что стало с родителями, братом и сестрами, но не смог произнести ни слова. Но он все понял. Подошел ближе и взял за локоть.

Может, так и лучше, прошептал он и безнадежно махнул рукой. Чем скорее, тем лучше. Всех нас ждет то же самое Помолчав, добавил: Пойдем сейчас к нам. Ты немного успокоишься.

Я согласился, и эту первую ночь без семьи я провел у них. Рано утром я отправился к главе администрации Мечиславу Лихтенбауму, с которым был знаком еще с той поры, когда начал работать музыкантом в кафе. Он предложил мне играть в казино немецкой Vernichtungskommando, где господа из гестапо и СС, устав от ежедневного уничтожения евреев, предавались вечерним развлечениям. Их обслуживали те, кого рано или поздно тоже должны были убить. Разумеется, я не захотел принять это предложения, хотя Лихтенбаум не мог понять, почему оно мне не по вкусу, и почувствовал себя задетым моим отказом. Без долгих разговоров он приказал вписать меня в список рабочих, разбиравших стены в том районе гетто, который присоединили к арийской части города.

На следующий день я впервые за два года вышел за территорию еврейского района. Это случилось в прекрасный жаркий день, примерно 20 августа. Такой же прекрасный, как множество предыдущих дней как и тот, что мы провели вместе с близкими на Umschlagplatz.

Мы шли колонной по четыре, нами командовали мастера-евреи под надзором двух эсэсовцев. Нас ненадолго остановили на площади Железных Ворот. Выходит, была еще где-то другая жизнь!

Перед закрытым пассажем, который немцы, очевидно, переделали в склад, стояли мелкие

торговцы с корзинами, полными товаров. Яркими красками сверкали овощи и фрукты, солнце блестело на чешуе выложенной для продажи рыбы и на металлических крышках банок с консервами. Вокруг продавцов крутились женщины, торговались, переходили от одного к другому, делали покупки и уходили куда-то в направлении центра города.

Торговцы золотом и валютой то и дело монотонно выкрикивали:

Золото, куплю золото. Доллары, рублики

Спустя какое-то время на одной из поперечных улиц начала сигналить машина и появился серо-зеленый полицейский грузовик. Среди торговцев началась паника, они поспешно собрали свой товар и бросились наутек. На площади поднялся крик и возникло замешательство, которое трудно описать. Значит, и здесь не все было так хорошо.

Разбирая стену, мы старались работать как можно медленнее, чтобы работы хватило на подольше. Мастера-евреи нас не подгоняли, да и эсэсовцы вели себя здесь иначе, чем в гетто. Стояли в сторонке, болтали и глазели по сторонам.

Грузовик пересек площадь и пропал из виду, торговцы вернулись на свои места, и на площади все стало как прежде, будто ничего и не было. Мои товарищи по очереди отходили от группы, чтобы купить что-нибудь на лотках и сунуть покупки в сумки, штаны или карманы курток. К сожалению, у меня не было денег, и я мог только наблюдать за ними, хотя меня мутило от голода.

К нашей группе от Саксонского сада шла молодая хорошо одетая пара. Девушка была великолепна. Я не мог оторвать от нее глаз. Ее губы в яркой помаде смеялись, бедра слегка колыхались, а солнце блестело золотом в ее светлых волосах, окружая голову светящимся ореолом. Когда они приблизились, девушка замедлила шаг и воскликнула:

Смотри, смотри!

Мужчина не понял. Вопросительно взглянул на нее. Она показала на нас пальцем:

Евреи!

Он удивился.

Ну и что? И пожал плечами. Ты что, евреев не видела?

Девушка смущенно засмеялась, ласково прильнула к своему спутнику, и они пошли дальше в сторону рынка.

После обеда мне удалось занять у товарища по работе пятьдесят злотых. Я купил картошку и хлеб и сразу съел кусочек. Остальной хлеб и картофелины я пронес с собой в гетто. В тот же вечер я совершил первую в своей жизни сделку. Хлеб, купленный за двадцать злотых, я в гетто продал по пятьдесят, а картошку, купленную по три злотых за килограмм по восемнадцать. Первый раз за долгое время я поел досыта, плюс еще образовался маленький оборотный капитал, чтобы купить что-нибудь на следующий день.

Работа по разборке стены была монотонной. Рано утром мы выходили из гетто и до пяти вечера стояли около груды кирпичей, Делая вид, что работаем. Время для моих товарищей летело быстро; они были поглощены торговыми соображениями что и как купить, как пронести в гетто и там с выгодой продать. Я покупал самые простые вещи, чтобы заработать на еду. Если о чем и думал, то только о своих родных: где они, в каком лагере, и каково им сейчас.

Однажды мимо нашей бригады проходил мой старый приятель Тадеуш Блюменталь. Его внешность не выдавала в нем еврея, поэтому он мог не признаваться в своем еврейском происхождении и жить в арийской части города. Он обрадовался, встретив меня, и одновременно огорчился, увидев, в каких тяжелых условиях я нахожусь. Блюменталь дал мне немного денег и пообещал, что попробует мне помочь, пришлет завтра женщину, которая проводит меня в безопасное место, если мне удастся незаметно сбежать. Женщина в самом деле пришла, но, к сожалению, с известием, что люди, у которых меня хотели поместить, не

согласились принять еврея.

В другой раз меня заметил, проходя через площадь, концертмейстер Варшавской филармонии Ян Двораковский. Он был искренне взволнован, увидев меня. Поцеловал и стал расспрашивать о моих близких. Когда я сказал, что их выслали из Варшавы, он посмотрел на меня, как мне показалось, с большим сочувствием, хотел что-то сказать, но потом передумал.

Что вы об этом думаете?

Пан Владислав! Он тепло обнял меня за плечи. Может, лучше, чтобы вы знали правду, тогда вы будете беречь себя. Он на секунду заколебался, стиснул мою руку и понизил голос почти до шепота: Вы никогда их больше не увидите.

Он быстро отвернулся и пошел прочь. Сделав несколько шагов, вернулся и снова подошел ко мне, чтобы поцеловать на прощание, но у меня уже не было сил, чтобы ответить на его сердечность.

Подсознательно я с самого начала не сомневался, что немецкие байки о лагерях с хорошими условиями, куда направляли выселенцев, были ложью. От немцев мы могли ожидать только одного смерти. И все же я питал иллюзию, как и другие обитатели гетто, что бывает по-всякому, вдруг на этот раз обещания немцев окажутся правдой. Я представлял своих близких живыми, пусть в очень тяжелых условиях, но все же живыми, надеясь, несмотря ни на что, в один прекрасный день встретиться с ними. Двораковский убил во мне эту, с трудом поддерживаемую иллюзию. Лишь какое-то время спустя мне пришлось убедиться, что он поступил правильно, в решающую минуту сознание неминуемой гибели прибавляло мне сил в поисках спасения.

Последующие дни я провел как во сне: утром машинально вставал, машинально двигался, вечером машинально валился на нары община выделила мне место для ночлега на складе мебели, ранее принадлежавшем выселенным из гетто еврейским семьям.

Мне предстояло научиться жить с сознанием гибели матери, отца, Галины, Регины и Генрика.

Русские совершили воздушный налет на Варшаву. Все прятались в убежища. Немцы были обозлены, а евреи радовались, хотя не могли этого показать. От каждого разрыва упавшей бомбы наши лица прояснялись; для нас это был знак, что помощь близка и поражение Германии наше единственное спасение не за горами. Я не спускался в убежище было безразлично, останусь в живых или нет.

За это время условия работы по разборке стены постоянно ухудшались. Литовцы, которые теперь надзирали за нами, следили, чтобы мы ничего не покупали у торговцев, а перед возвращением в гетто нас на главной вахте, перед сторожевой вышкой, обыскивали все более тщательно. Как-то, ближе к вечеру, нашу группу неожиданно подвергли селекции. Перед сторожевой вышкой встал молодой жандарм, и заложив руки за спину, начал нас сортировать по собственному усмотрению: налево смерть, направо жизнь. Это была лотерей. Мне выпало идти направо. А тем, кто встал налево, он приказал лечь на землю лицом вниз и застрелил из револьвера.

Прошла почти неделя, и на стенах гетто вновь появились объявления о поголовной селекции евреев, еще оставшихся в живых. Из ста тысяч (триста тысяч уже вывезли) должно было остаться двадцать пять только нужные немцам специалисты и рабочие.

Сотрудникам еврейской администрации в определенный день предписывалось собраться во дворе своего учреждения, а остальным в районе между улицами Новолипки и Гусиной.

В целях безопасности, перед этим зданием встал один из еврейских полицаев, офицер Блаупапер с плеткой. Он собственноручно сек всех, кто пытался войти внутрь.

Тем, кому разрешили остаться в гетто, раздали номерки на карточках с печатями. Община имела право оставить пять тысяч человек из числа своих работников. В первый день мне

номерок не достался. Несмотря на это, я, находясь в состоянии апатии, крепко проспал всю ночь, в то время как мои сотоварищи сходили с ума от тревоги. На следующий день с самого утра я получил номерок. Нас построили по четыре, и так мы стояли и ждали, пока немецкая контрольная комиссия во главе с унтерштурмфюрером Брандтом соизволит приехать и пересчитать нас, чтобы убедиться, не слишком ли многих оставили в живых.

По четверо, мерным шагом, мы в окружении полиции выходили из ворот здания администрации, направляясь на Гусиную улицу, где нас должны были расквартировать. За нами осталась толпа приговоренных к смерти, бросающихся то туда, то сюда, кричащих, плачущих и проклинающих нас за то, что нам каким-то чудом удалось сделать, а литовцы, стерегущие эту границу между жизнью и смертью, стреляли в них, чтобы таким, обычным тогда методом, их успокоить.

И на этот раз мне удалось избежать гибели. Но надолго ли?

11 ЭЙ, СТРЕЛКИ, ВПЕРЕД!..

И опять я сменил место ночлега. В который уже раз с тех пор, как мы жили на Слизкой и началась война. На этот раз меня поселили в помещении, которое скорее напоминало камеру: в нем были нары и только самые необходимые предметы обихода. Здесь же обитала семья Пружанских из трех человек и молчаливая госпожа А., которая, живя вместе с нами, вела совершенно обособленную жизнь.

В первую же ночь приснился сон, который навсегда лишил меня всяких иллюзий. Я воспринял его как окончательное подтверждение своих подозрений относительно судьбы родных. Приснился мне брат Генрик. Он подошел и, склонившись над моими нарами, сказал:

Нас уже нет в живых.

В шесть утра нас разбудили громкие голоса и поспешные шаги в коридоре. Группа привилегированных рабочих, занятых на реконструкции особняка шефа варшавского СС, отправлялась в Уяздовские Аллеи. Их привилегии состояли в том, что перед выходом они получали миску мясного супа, который давал ощущение сытости на несколько часов. Вскоре после них отправлялись и мы, всегда на голодный желудок похлебка, которую нам давали, была такой же пустой, как и наша работа. Мы должны были убирать мусор на дворе перед зданием еврейской администрации.

На другой день меня и Пружанского вместе с его несовершеннолетним сыном послали на работу в дом, где размещались склады, принадлежавшие администрации общины, а также квартиры ее сотрудников. Было два часа дня, когда раздался знакомый звук свистка и характерные крики немцев, сгонявших всех вниз, во двор. Мы замерли в тревоге. Ведь не прошло и двух дней, как нам выдали номерки на жизнь. Их получили все в этом доме, значит, это не могло быть облавой. Так что же?

Мы поспешили вниз: и все же это была селекция! И снова нас охватило отчаяние, снова орали эти из СС, бесновались, сортируя кого налево, кого направо, разделяя семьи, лая и убивая людей. Нашу бригаду за немногими исключениями оставили в живых. Среди этих исключений оказался сын Пружанского, хороший мальчик, с которым я подружился и уже успел к нему сердечно привязаться, хотя мы жили вместе всего два дня. Не буду описывать отчаяние его отца в таком же отчаянии в эти месяцы находились тысячи отцов и матерей в гетто. Характерно другое: семьи важных лиц из еврейской администрации с ходу выкупали себя у неподкупных гестаповцев. Вместо них, так, чтобы общее количество сохранялось, гнали на Umschlagplatz и везли оттуда на смерть столяров, официантов, кельнеров, парикмахеров и иных специалистов, в ком немцы действительно нуждались. Позже юному Пружанскому удалось бежать с Umschlagplatz и продлить свою жизнь еще на какое-то время.

Однажды меня вызвал бригадир и сказал, что сумел включить меня в группу, которую переводят в отдаленный район Мокотов на стройку казарм СС. Там больше паек, и вообще там будет лучше. В действительности все оказалось иначе. Нашей новой бригаде приходилось вставать на два часа раньше, чтобы пройдя через весь город пешком больше десяти километров, явиться на стройку вовремя. После такого перехода, усталые, мы должны были немедленно приступить к работе, которая была мне не по силам. Мне приказали носить наверх кирпичи, уложенные на доску, которую я клал на спину. В перерывах я таскал ведра с известью и железные балки. Может быть, я и смог бы справиться с этой работой, если бы не надзиратели из СС будущие жители этих казарм, которым казалось, что мы работаем слишком медленно. Они приказали нам носить сложенные в штабеля кирпичи и железные балки бегом, а если кто-то от слабости останавливался, его били нагайками с оловянными шариками на концах.

Не знаю, на сколько бы меня хватило при такой тяжелой физической нагрузке, если бы я не сумел умолить бригадира перевести меня на строительство особняка гауптфюрера СС на Уяздовских Аллеях. Там, действительно, условия были более сносными, и можно было как-то продержаться. Это объяснялось главным образом тем, что мы работали вместе с немецкими мастерами и польскими специалистами, среди которых были даже вольнонаемные. Евреи не были выделены в отдельную бригаду, поэтому не так бросались в глаза и могли как-то проволынить с работой. В этом нам помогали поляки, которые были настроены против немецких надсмотрщиков. Фактически стройкой руководил еврей инженер Блюм, и это было нам на руку. У него был свой коллектив, состоявший из инженеров высочайшего класса, тоже евреев. Официально немцы их не признавали и, числившийся начальником строительства мастер Шультке, типичный немец-садист, мог преспокойно избивать инженеров, как только вздумается. Но без специалистов-евреев дело не двигалось. Поэтому к нам относились сравнительно терпимо, если не считать битья, что было в то время в порядке вещей.

Я работал подсобником у каменщика Бартчака, поляка, человека по сути своей порядочного. Понятно, между нами не могли не возникать ссоры. Бывали моменты, когда немцы стояли у нас над душой и нужно было работать добросовестно. Тогда я старался изо всех сил, но что могло из этого получиться? Я переворачивал лестницы, разливал известь или ронял со строительных лесов кирпичи, за что на нас с Бартчаком сыпалась брань, и он страшно злился на меня. Наливаясь краской, он что-то бормотал себе под нос, ожидая момента, когда немцы отойдут. Тогда, сбив шапку на затылок и уперев руки в боки, он начинал свою речь, качая при этом головой от презрения к моей неспособности постичь ремесло каменщика.

И как же ты играл там в этом радио, Шпильман? дивился он. На концерте музыканта, который даже известь не может собрать лопатой с доски, все небось засыпали.

Пожав плечами, он бросал в мою сторону подозрительный взгляд, сплевывал и рывкал на меня напоследок, чтобы еще раз разрядить свое бешенство:

Растяпа!

Но когда я, забыв, где нахожусь, погружался в свои мысли и переставал работать, он всегда успевал вовремя предупредить, что приближается кто-то из немецких надсмотрщиков.

Раствор! кричал он так, что было слышно на всю площадь, а я бросался к первому попавшемуся ведру или мастерку, изображая трудовое рвение.

Больше всего меня тогда волновала перспектива приближающейся зимы. У меня не было теплой одежды и, конечно, перчаток. Я всегда плохо переносил холод; стоило мне отморозить руки, да еще на такой тяжелой физической работе, и на профессии пианиста можно ставить крест. С растущим беспокойством я наблюдал, как желтеют листья на Уяздовских Аллеях, а порывы ветра день ото дня становятся холоднее.

Тогда же наши временные номерки на жизнь поменяли на постоянные. Кроме того, меня переселили в другое место гетто на улицу Пыльную. И со стройки, что велась на Аллеях в арийской части города, нас перевели на другой объект. Там дело подходило к концу и уже не требовалось столько рабочих рук. С каждым днем температура опускалась ниже, и все чаще во время работы у меня немели пальцы от холода. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не случай не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды, неся известь, я споткнулся и вывихнул себе лодыжку. Для работы на стройке я стал непригоден. Тогда инженер Блюм отправил меня работать на склад. Был конец ноября последний срок, чтобы спасти руки. В помещениях склада наверняка было теплее, чем под открытым небом.

Теперь все больше рабочих с Уяздовских Аллей направляли к нам. И все больше эсэсовцев надзирателей, переходили на стройплощадку на улицу Нарбута. Однажды утром здесь появился садист, вызывавший у рабочих ужас; его настоящего имени никто не знал, мы звали его Зигзаг.

Его издевательства над людьми носили специфический характер, принося ему своего рода сексуальное удовлетворение: он приказывал своей жертве наклониться, зажимал его голову между своих ляжек и, побледнев от злобы, цедил сквозь зубы: Зиг-заг, зиг-заг!, затем изо всех сил хлестал несчастного нагайкой по ягодицам. Всегда до тех пор, пока тот не терял сознание от боли.

И снова по гетто ходили слухи об очередном выселении. Если они соответствуют действительности, значит, немцы собираются полностью нас истребить. В конце концов, нас оставалось лишь около шестидесяти тысяч, и чем еще могли руководствоваться немцы, желая убрать столь малую группу населения из города? Все чаще возникала мысль о необходимости активного сопротивления. Особенно решительно была настроена еврейская молодежь, и уже кое-где в гетто начинали укреплять дома на случай, если придется в них обороняться. Должно быть, немцы это почувствовали, потому что на стенах гетто появились объявления, где в самых теплых выражениях нас заверяли, что новых депортаций не планируется. Надзиратели, приставленные к нашей бригаде, все время, уже от своего имени, заверяли нас в том же, и в доказательство своих слов позволили нам, теперь уже официально, каждый день покупать по пять килограммов картофеля и буханке хлеба и уносить с собой в гетто. В своем великодушии немцы зашли так далеко, что даже разрешили одному из нашей группы делать закупки на всех, а для этого каждый день свободно перемещаться по городу. Мы нашли молодого смелого парня по прозвищу Майорек. Немцы не предусмотрели только одного: что Майорек станет связным между движением Сопротивления в гетто и за его пределами и будет выполнять наши поручения.

Официальное разрешение ввозить в гетто определенное количество продуктов вызвало настоящий торговый ажиотаж вокруг нашей группы. Каждый день, когда мы выходили из ворот гетто, нас у другой стороны стены ожидали толпы торговцев, которые выменивали у моих товарищей тряпки, то есть старые, изношенные вещи, на съестное.

Меня интересовали не столько эти сделки, сколько новости, которые при случае можно было узнать у торговцев. Союзники высадились в Африке, уже три месяца шла оборона Сталинграда, а в Варшаве совершено новое покушение в немецкий Cafe-Club бросили гранату. Каждая такая новость прибавляла нам мужество и стойкость, укрепляла веру в скорое падение Германии.

К тому времени относятся первые акции возмездия в гетто, на первых порах в основном против продажных тварей. Был убит Лейкин, один из величайших подлецов, служивших в еврейской полиции, прославившийся во время облав и вывоза людей на Umschlagplatz. Вскоре после этого наши еврейские мстители привели в исполнение смертный приговор некоему Фирсту связному между еврейской администрацией и гестапо. Шпики в геттовпервые охватил страх.

Постепенно ко мне возвращались бодрость духа и желание жить. Поэтому наступил момент, когда я решил обратиться к Майореку с просьбой позвонить из города моим знакомым: пусть они меня как-нибудь отсюда вытащат и спрячут. С бьющимся сердцем я ожидал его возвращения. Наконец, во второй половине дня он вернулся, но с плохими новостями: знакомые ответили ему, что не могут рисковать, пряча у себя еврея. Ведь в конце концов, за это грозит смерть! объяснили они с негодованием, не понимая, как им вообще посмели предложить что-либо подобное. Да. Здесь ничего не поделаешь. Эти сказали нет, но, может, другие будут более благосклонны. Главное не терять надежды.

Приближался Новый год.

31 декабря 1942 года неожиданно пришел большой состав с углем. Нам приказали в тот же день полностью его разгрузить и перенести уголь в подвал дома на улице Нарбута. То была

тяжелая работа, которая затянулась надолго. Вместо того чтобы отправиться в гетто в шесть вечера, мы вышли, когда уже наступила ночь.

Мы шли колонной по трое по нашему обычному маршруту: по Польной, через улицу Халубинского и дальше вдоль Железной до самых ворот гетто. Мы уже были на улице Халубинского, когда от головы колонны донеслись дикие крики. Мы замедлили шаг. Через минуту стало ясно, что происходит: на нашем пути случайно оказалось двое эсэсовцев. Один из них был Зигзаг. Они набросились на нас и принялись хлестать нагайками, с которыми не расставались даже во время своих пьяных разгулов. Дело свое они знали: педантично полосовали тройку за тройкой, начав с головы колонны. Закончив, отступили на несколько шагов, достали пистолеты, и Зигзаг гаркнул:

Интеллигенция, шаг вперед!

Сомневаться не приходилось они намеревались расстрелять нас на месте. Я не мог решиться. Неподчинение могло взбесить их еще больше. Но, с другой стороны, ведь они могли сами выдернуть нас из колонны, чтобы прежде чем убить, еще и изувечить за то, что мы не вышли добровольно. Стоящий около меня доктор Зайчик историк, доцент университета трясся всем телом, в точности как и я, и так же, как я, не мог ни на что решиться. Но когда эсэсовец рывкнул во второй раз, мы вышли из колонны. Нас было семеро. Я оказался прямо напротив Зигзага, который заорал, обращаясь ко мне:

Я научу вас порядку! Что вы делали столько времени?! Он размахивал пистолетом у меня перед носом. Вы должны были возвращаться в шесть, а уже десять!

Я не отвечал, зная, что через секунду меня застрелят. Он посмотрел мне в глаза мутным взором и, вдруг зашатавшись, отлетел к фонарному столбу, а потом неожиданно сказал совершенно спокойным тоном:

Ваша семерка персонально отвечает за то, чтобы колонна дошла до гетто. Можете идти.

Мы уже повернулись, когда он заорал:

Назад!

Теперь перед ним оказался доктор Зайчик. Он схватил его за воротник, потряс и прохрипел:

Знаете, почему мы вас били? Доктор молчал. Знаете, почему?

Кто-то из колонны, наверное перепугавшись насмерть, отозвался робко:

Почему?

Чтобы вы знали, что сегодня Новый год!

Мы уже вернулись в строй, когда раздался следующий приказ:

Запевай!

Мы удивленно посмотрели на Зигзага. Он зашатался, рыгнул и dokonчил:

веселее!

Едва держась на ногах, он громко рассмеялся своей шутке, повернулся и пошел. Потом снова остановился и гаркнул:

Громче!!!

Я уже не помню, кто первый запел эту военную песню, и не знаю, почему он выбрал именно ее. Мы подхватили. В конце концов, нам было все равно, что петь.

Только сейчас, воскрешая в памяти ту минуту, я понимаю, насколько в ней трагическое перемешалось с комическим. В новогоднюю ночь мы шли кучка измученных евреев по улицам города, где любое проявление польского патриотизма уже не первый год каралось смертью, и безнаказанно распевали во всю глотку:

Эй, стрелки, вперед!..

Первый день 1943 года того года, который должен был, по предсказанию Рузвельта, принести немцам поражение. И правда удача отвернулась от них на всех фронтах. Если бы где-нибудь линия фронта проходила поближе! Пришло известие о поражении немцев под Сталинградом. Оно было настолько ощутимо, что его нельзя было скрыть или игнорировать, заявляя в печати, что это событие не имеет никакого значения для победоносного хода войны. На этот раз пришлось признаваться; немцы объявили трехдневный траур, для нас это были первые за много месяцев радостные дни. Оптимисты потирали руки, уверенные, что войне скоро конец. Пессимисты придерживались другой точки зрения: война продлится еще долго, но теперь, по крайней мере, нет ни малейшего сомнения в ее исходе.

Хорошие политические новости приходили все чаще, и вместе с этим возрастала активность подпольных организаций в гетто. Мы тоже не стояли в стороне. Майорек ежедневно доставлял из города мешки с картофелем для нашей бригады, пряча в них боеприпасы. Потом мы делили их между собой, прятали в штанах и так проносили в гетто. Это было опасно: любая случайность и все могло закончиться для нас трагически.

Майорек, как всегда, приволок мешки ко мне на склад. Я должен был их опорожнить, патроны спрятать и вечером раздать товарищам. Но едва он успел поставить свою ношу на землю и исчезнуть, как вдруг отворилась дверь и на пороге появился унтер-штурмфюрер Янг. Он огляделся, увидел мешки и сразу направился к ним. Ноги у меня подкосились. Если проверит, что внутри, мы пропали. Я первый получу пулю в лоб. Янг остановился около мешков и попробовал какой-то из них развязать. Веревка запуталась, и узел не поддавался. Эсэсовец нетерпеливо ругнулся и оглянулся на меня.

Развязать! буркнул он.

Я подошел ближе, стараясь сдержать нервную дрожь. Намеренно медленно, стараясь казаться спокойным, я взялся за узел. Немец стоял надо мной подбоченясь.

Что внутри?

Картошка. Ведь нам разрешают ежедневно приносить ее в гетто.

Мешок был уже открыт. Последовал приказ:

Показать!

Я сунул руку внутрь. Это был не картофель. Как раз в тот день часть картофеля Майорек заменил крупой и фасолью. Они были сверху, картошка внизу, под ними.

Я показал горсть продолговатых, желтоватого цвета зерен.

Картошка? Янг иронически засмеялся и приказал показать, что там глубже.

На этот раз я вытащил горсть крупы. Каждую секунду я мог ожидать побоев за попытку обмануть немца. Я даже хотел этого. Тогда внимание эсэсовца будет отвлечено от того, что было глубже в мешках. Но он меня даже не ударил. Повернулся на каблуках и вышел. И тут же вновь ворвался в помещение, желая, видимо, поймать меня с поличным. Я стоял посреди склада со сбившимся от волнения дыханием. Мне нужно было сначала прийти в себя.

Только когда удаляющиеся шаги Янга по коридору совсем стихли, я поспешно высыпал все из мешков и спрятал боеприпасы под кучей извести, сваленной в углу склада. В тот же вечер, возвращаясь в гетто, мы, как всегда, перебросили через стену очередной мешок с патронами и гранатами. И на этот раз нам все сошло с рук.

14 января, в пятницу, немцы, разозленные неудачами на фронтах и нескрываемой радостью по этому поводу польского населения, устроили новые облавы на этот раз по всей территории Варшавы. Облавы должны были идти три дня подряд. Ежедневно по пути на работу и обратно

мы видели, как на улицах ловят или останавливают людей. В сторону тюрем беспрерывно шли воронки полицейские грузовики, набитые задержанными. Из тюрем машины возвращались уже пустыми и готовыми принять новые партии будущих узников концентрационных лагерей.

Какая-то группа арийцев пыталась спрятаться в гетто. Это был еще один парадокс оккупации: повязка со звездой, самая опасная мета, стала вдруг на какое-то время спасительным защитным знаком, поскольку евреев в тот момент не забирали.

Однако через два дня пришел и наш черед. Явившись в понедельник на работу, я застал там лишь немногих своих товарищей, которых, очевидно, нечем было заменить. И меня, как кладовщика, включили в их число. Под надзором двух жандармов мы двинулись к воротам гетто. Обычно их охраняла только еврейская полиция, но на этот раз здесь находился целый отдел жандармерии, который тщательно проверял документы всех, кто выходил с территории гетто на работу. По тротуару неуверенно шел мальчик лет десяти. Он был бледен и так напуган, что забыл снять шапку перед идущим ему навстречу жандармом. Немец задержал мальчика и, не говоря ни слова, вынул револьвер, приставил ему к виску и выстрелил. Ребенок осел на землю, его руки забились в конвульсиях, он выгнулся и умер. Жандарм спокойно убрал револьвер в кобуру и продолжил свой путь. Я всмотрелся в него: ни жестокости на лице, ни следов злобы. То был нормальный, спокойный человек, который только что исполнил одну из своих многочисленных ежедневных обязанностей не самую важную и сразу забыл об этом, занятый другими делами, куда более серьезными.

Мы уже стояли с арийской стороны, когда до нас донеслись звуки выстрелов. Это оставшиеся в гетто евреи, увидев, что их окружают, сбились в группы и первые ответили выстрелами на немецкий террор.

Поглощенные мыслью о том, что сейчас будет в гетто, мы отправились на работу, чувствуя себя совершенно разбитыми. Вне всяких сомнений, начался новый этап ликвидации гетто. Рядом со мной шел младший Пружанский, тревожась, удастся ли его родителям, которые остались дома, улучшить момент и где-то спрятаться, чтобы избежать депортации. А у меня был другой, довольно специфический, повод для огорчения: я оставил в комнате на столе авторучку и часы все свое богатство. Я рассчитывал продать эти предметы, и если бы мне удалось бежать, то на вырученные деньги я сумел бы протянуть несколько дней до тех пор, пока друзья помогут как-то устроиться.

В тот вечер мы в гетто не вернулись. Какое-то время нас оставляли ночевать на Нарбута. И только позже узнали, что в это время делалось в гетто: люди как могли сопротивлялись отправке на смерть. Прятались в приготовленных заранее тайниках, а женщины поливали лестничные клетки водой, которая превращалась в лед, и немцам было труднее подняться на этажи. В некоторых домах жители забаррикадировались и вступили в перестрелку с эсэсовцами, решив погибнуть с оружием в руках вместо того, чтобы дать задушить себя в газовой камере.

Из еврейского госпиталя забрали больных прямо в белье, погрузили в ледяные вагоны и вывезли в Треблинку. Но все же, благодаря этому первому акту вооруженного сопротивления со стороны евреев, за пять дней немцы смогли вывезти не более пяти тысяч человек вместо запланированных ими десяти тысяч.

На пятый день вечером Зигзаг сообщил, что акция очистки гетто от паразитических элементов закончена и мы можем наконец вернуться домой. Сердце у меня колотилось как молот. Улицы гетто являли ужасающую картину. Тротуары были засыпаны битым стеклом. Сточные канавы забиты пером из разорванных подушек. Перья были везде. Каждое дуновение ветра поднимало облака перьев и рассыпало их вокруг, словно снег, который падал наоборот с земли на небо. Везде лежали человеческие останки. Кругом такая тишина, что звук наших шагов отражался долгим эхом от стен домов, будто мы шли по горному ущелью.

В разоренной комнате никого не было. Все брошено так, как оставили родители Пружанского перед депортацией. Нары после последней ночи, которую они провели здесь, не застланы, а на погасшей печурке стоит кастрюлька с кофе, который им уже не суждено было выпить. Ручка и часы лежали на столе так, как я их оставил.

Теперь нужно было действовать как можно скорее и как можно энергичнее. Во время следующей акции, которая, очевидно, не за горами, меня тоже могут схватить. При посредничестве Майорека я сумел договориться с друзьями молодой парой из творческой интеллигенции. Он, Анджей Богуцкий, был актером, а она певицей, выступавшей под своей девичьей фамилией: Янина Годлевская.

В один прекрасный день Майорек сообщил мне, что они придут ко мне в шесть вечера. Я воспользовался моментом, когда рабочие-арийцы отправлялись домой, и незаметно приблизился к воротам. Супруги пришли вместе. Мы почти не разговаривали. Я передал им свои сочинения, авторучку и часы все, что хотел забрать отсюда с собой. Для этого я заблаговременно принес эти вещи из гетто и спрятал на складе. Мы договорились, что Богуцкий придет за мной в субботу в пять часов. На объекте в это время ожидали какого-то генерала СС с инспекцией. Я рассчитывал, что переполох, обычно сопутствующий таким визитам, поможет мне бежать.

Тем временем нервное напряжение в гетто возрастало, воздух был пропитан тревогой и ожиданием. Начальник еврейской полиции, полковник Шеринский, покончил с собой. Должно быть, он узнал нечто не оставлявшее никаких сомнений, что это конец, если даже такой человек, как он нужный немцам и имевший с ними тесные связи, то есть такой, кого вывезли бы в последнюю очередь, не нашел для себя иного выхода, кроме смерти.

Каждый день к нашей бригаде прибывали чужаки, чтобы, оказавшись за стенами гетто, совершить побег. Не всем это удавалось. С арийской стороны их ждали шмальцовщики ^[2] платные агенты или просто любители выследить еврея, напасть на него в ближайшем переулке и ограбить, забрав все его деньги и золото. После этого обобранного человека, как правило, сдавали в гестапо.

В субботу я уже с самого утра не находил себе места. Пройдет ли все гладко? Любой неосторожный шаг мог означать немедленную гибель. Во второй половине дня действительно явился генерал с инспекцией. Все внимание эсэсовцев было поглощено этим визитом, и мы на какое-то время остались без надзора. Примерно в пять часов рабочие арийцы отправлялись домой. Я надел пальто, первый раз за три года снял повязку с голубой звездой и в толчее вместе с ними миновал ворота.

На углу Вишневой стоял Богуцкий. Значит, пока все хорошо. Заметив меня, он быстро пошел вперед. Я двинулся за ним, поотстав на несколько шагов и высоко подняв воротник, стараясь и темноте не потерять Богуцкого из виду. Улицы были пустынные, горящие фонари попадались редко в соответствии с правилом, принятым с начала войны. Лишь бы не наткнуться на немца, который мог бы рассмотреть мое лицо. Мы шли быстрым шагом, по самой короткой дороге, но мне все казалось, что нет ей конца. Наконец, мы у цели у дома на улице Ноаковского, 10, где я должен был спрятаться на шестом этаже в художественной мастерской, хозяином которой был один из лидеров Сопротивления композитор Петр Перковский. Мы взбежали наверх, перескакивая через три ступеньки. В мастерской нас ждала Годлевская, которая уже не находила себе места от волнения. Увидев нас, она вздохнула с облегчением.

Ну наконец-то!

И, всплеснув от радости руками, сказала, обращаясь ко мне:

Когда Анджей ушел за тобой, до меня дошло, что сегодня тринадцатое февраля, а ведь это число приносит несчастье

13 ССОРЫ ЗА СТЕНОЙ

Ателье, где я находился и где предстояло пробыть еще какое-то время, представляло собой довольно просторное помещение со стеклянным потолком. Две двери в противоположных концах ателье вели в маленькие спальни без окон. Богуцкие приготовили мне раскладушку. После казарменных нар, на которых раньше спал, эта постель показалась мне необыкновенно удобной. Сам факт, что я не вижу немцев, не слышу их криков и не приходится опасаться, что каждую минуту любой эсэсовец может меня избить или даже убить, давал ощущение счастья. Я старался не думать о том, что ждет впереди и доживу ли вообще до конца войны.

Известие, которое однажды принесла Богуцкая, прибавило сил: она сказала, что советские войска отбили Харьков. Но что будет со мной? Приходилось считаться с тем, что мое пребывание в мастерской не продлится долго. Перковский должен был в ближайшие дни найти жильца, хотя бы потому, что немцы объявили перепись населения, во время которой полиция станет обыскивать квартиры и проверять, все ли там зарегистрированы и имеют право на проживание. Почти каждый день приходили новые кандидаты, чтобы осмотреть помещение. Тогда я прятался в одной из спален, запирая дверь изнутри.

Две недели спустя Богуцкий договорился с Рудницким, бывшим директором музыкального вещания Польского радио, моим довоенным шефом, и как-то вечером тот пришел ко мне в сопровождении инженера Гембчинского. Я должен был переселиться во флигель этого же дома, в квартиру супругов Гембчинских. В тот же вечер я смог, впервые за семь последних месяцев, коснуться клавиш рояля. Семь месяцев, за которые я потерял всех, кого любил, пережил ликвидацию гетто, разбирал стены, а потом таскал известь и кирпичи. Я долго отнекивался, но потом все же уступил уговорам пани Гембчинской. Огрубевшие пальцы с трудом двигались по клавишам, а звук казался раздражающим и чужим.

Этот же вечер принес еще одну сенсацию. Гембчинскому позвонил его друг, человек, обычно хорошо информированный, и сообщил, что на следующий день ожидаются облавы по всему городу. Мы все были в ужасной тревоге. Но, как часто случалось в те годы, то была ложная тревога. На следующий день к нам заглянул наш старый знакомый с Радио, с которым мы потом сдружились, дирижер Чеслав Левицкий. Он согласился поселить меня в своей однокомнатной квартирке без кухни, где сам не жил, на Пулавской улице, 83.

В субботу, 27 февраля, в семь часов вечера, когда стемнело, мы покинули квартиру Гембчинских. На площади Унии мы взяли рикшу и без приключений добрались до Пулавской. В подъезде никого не было, мы быстро взбежали по лестнице на пятый этаж.

Небольшая квартира оказалась уютной и красиво обставленной. В нише располагался вход в туалет, напротив внушительных размеров встроенный шкаф, а рядом газовая плита. В комнате стояли большой диван, шкаф для одежды, полочка с книгами, столик и удобные кресла. В маленькой библиотечке было много нот и партитур; нашлось там и несколько научных книг. Я чувствовал себя как в раю. В первую ночь почти совсем не спал, потому что хотел насладиться лежанием на настоящем диване с прекрасными пружинами.

На другой день пришел Левицкий со своей знакомой, пани Мальчевской, и принес мои вещи. Мы обсудили проблему моего питания и то, как мне следует вести во время переписи населения, которая ожидалась завтра. Я должен был весь день пробыть в туалете, запершись изнутри на ключ, так же, как недавно в алькове художественной мастерской. Мы предполагали, что, даже если полицейские во время переписи вломятся в квартиру, они наверняка не заметят маленькой двери, за которой я спрячусь. В крайнем случае они примут ее за закрытую дверцу стенового шкафа.

Я ни в чем не отступил от нашего стратегического плана. Нагрузившись книгами, с самого утра я отправился в это помещение, не рассчитанное на длительное пребывание, и терпеливо пробыл там до самого вечера, уже с полудня мечтая только об одном расправить ноги.

Все эти предосторожности оказались излишними: никто не приходил, кроме обеспокоенного Левицкого, который заглянул под вечер полюбопытствовать, как я. Он принес водку, колбасу, хлеб и масло. То был царский ужин.

Перепись населения была предпринята для того, чтобы разом выявить всех евреев, скрывавшихся в Варшаве. Меня не нашли, и это вселило новую надежду. Договорились, что Левицкий, который жил довольно далеко отсюда, будет навещать меня два раза в неделю и привозить еду.

Следовало чем-то заполнить время тоскливого ожидания между его визитами. Я много читал и учился готовить вкуснейшие блюда по рецептам жены доктора Мальчевского. Приходилось все делать бесшумно, ходить на цыпочках, медленно, чтобы, упаси боже, не удариться обо что-нибудь рукой или ногой. Стены были тонкие, и любое неосторожное движение могло выдать мое присутствие соседям. Я слышал абсолютно все, что происходило у них, особенно у тех, что слева.

Судя по голосам, там жила молодая пара. Каждый вечер они начинали с нежностей вроде песик и котик, но этой гармонии уже через четверть часа приходил конец, разговор шел на повышенных тонах, а шкала эпитетов расширялась, распространяясь не только на домашних животных, но и на крупный рогатый скот. Потом, кажется, наступал акт примирения. Голоса на какое-то время стихали, и в финале звучал третий голос рояля, по клавишам которого молодая жена ударяла, фальшивя, зато с чувством. Но это брэнчание длилось недолго. Звук обрывался, и взвинченный женский голос начинал сначала:

Я не буду больше играть! Ты всегда отворачиваешься, когда я играю

Далее снова следовала серия из жизни животных.

Слушая все это, я думал с душевным волнением, как был бы счастлив, если бы у меня здесь оказалось пианино, пусть даже такое расстроенное, как то, за стеной, которое служило причиной семейных ссор.

Проходили дни. Регулярно, два раза в неделю, меня навещали пани Мальчевская или Левицкий, принося еду и последние политические новости. Ничего утешительного: к сожалению, советские войска оставили Харьков. Союзники оставили Африку. Проводя дни в размышлениях из-за вынужденного безделья, я все чаще возвращался памятью к пережитому ужасу, убитым родным, и все большее впадал в отчаяние и депрессию. Глядя в окно на обычную уличную жизнь и попрежнему спокойно разгуливающих по улице немцев, я начинал думать, что это навсегда. Что же тогда будет со мной? После стольких лет бессмысленных страданий меня все же найдут и убьют. В лучшем случае я успею покончить с собой, чтобы не попасть в лапы немцам.

Настроение поднялось, когда началось большое наступление союзников в Африке, приносящее одну победу за другой.

Был жаркий майский день, когда ко мне неожиданно явился Левицкий. Я как раз варил себе суп. Взбежав на пятый этаж, он никак не мог отдышаться и не сразу сумел выдать новость, ради которой пришел сюда: немецко-итальянская оборона в Африке сломлена полностью. Если бы все это произошло раньше! Если бы союзники победили сейчас в Европе, а не в Африке, я бы еще обрадовался. Тогда, может быть, восстание горстки оставшихся в живых евреев в варшавском гетто имело хотя бы минимальный шанс на успех.

Вместе с хорошими новостями, которые приносил Левицкий, становились известны страшные подробности трагической схватки с немцами моих братьев, решивших хотя бы

напоследок, пусть даже ценой собственной жизни, оказать им активное сопротивление, вступив в неравный бой, чтобы выразить свой протест против немецкого варварства. Из подпольных листов, которые до меня доходили, я узнал о вооруженном восстании евреев, о боях за каждый дом, за каждую улицу, а также о больших потерях немцев, которые в течение нескольких недель не могли, несмотря на применение артиллерии, танков и авиации, сломить повстанцев, значительно уступавших им в силе.

Никто из евреев не давался немцам в руки живым. Когда те занимали какой-нибудь дом, остававшиеся в нем женщины несли детей на последний этаж и бросались с балкона вниз. Вечером, перед сном, высунувшись из окна, я видел на юге Варшавы отблески огня и тяжкие клубы дыма, застилавшие прозрачное небо, усеянное звездами.

В начале июня ко мне неожиданно, в необычное для него время прямо в полдень пришел Левицкий. Но на этот раз без хороших новостей. Он был небрит, под глазами круги, как после бессонной ночи, и вид имел встревоженный.

Одевайся! приказал он шепотом.

Что случилось?

Вчера вечером мою комнату у Мальчевских опечатало гестапо, они могут прийти сюда в любую минуту. Надо немедленно бежать.

Бежать? Среди бела дня? Для меня это равнялось самоубийству.

Левицкий потерял терпение.

Поторопись, наконец! настаивал он.

А я, вместо того, чтобы собирать сумку, не двигался с места. Ему захотелось меня как-то приободрить, вселить мужество.

Тебе нечего бояться, говорил он, нервничая, все готово, недалеко отсюда тебя ждут и проводят в безопасное место.

Но у меня все равно не было желания никуда идти. Будь что будет! Левицкий скроется, и гестапо его не найдет. А я, в случае чего, предпочитаю покончить с собой здесь, чем снова скитаться, просто уже нет на это сил. Каким-то чудом смог его в этом убедить. На прощание мы обнялись, почти уверенные, что никогда больше не увидимся, и Левицкий ушел.

Я стал кружить по комнате, которую до сих пор считал самым безопасным местом на земле, теперь она казалась мне клеткой. Я был в заперт, как зверь, и приход мясников, которые с удовольствием меня прикончат, был лишь вопросом времени. В тот день, в ожидании смерти, которая все медлила, я, ни разу в жизни не бравший в рот сигареты, выкурил, наверное, сотню, из тех, что оставил Левицкий.

Я знал, что обычно гестапо приходит вечером или рано утром. Не раздеваясь и не зажигая света, я всматривался в решетку балкона, которая виднелась через окно, и прислушивался к малейшим звукам, доносившимся с улицы или с лестницы. В ушах все время звучали слова Левицкого. Уже взявшись за ручку двери, он вдруг обернулся, подошел ко мне и, еще раз обняв, сказал:

Если они появятся и ворвутся в квартиру, прыгай с балкона. Они не должны взять тебя живым! И добавил, чтобы мне было легче на это решиться: Я им тоже не дам у меня всегда с собой яд.

Было уже поздно. Движение на улице совсем затихло, в доме напротив гасли огни один за другим. Немцев все не было.

Я чувствовал себя совершенно измотанным. Уж если им суждено прийти, пусть это случится как можно скорее. Я не хотел ожидать смерти так долго. Спустя какое-то время пришло в голову, что не обязательно прыгать с балкона. Мне подумалось, что лучше повеситься, такой способ свести счеты с жизнью, не знаю уж почему, показался мне более легким и

быстрым. Попробуем не зажигая в комнате света, я принялся искать веревку. Наконец мне удалось найти довольно крепкий кусок на стеллаже за книгами. Я снял картину со стены над полкой, проверил, крепкий ли крюк, сделал петлю и стал ждать. Гестапо не пришло.

Не пришло ни утром, ни в последующие дни. Лишь поздним утром в пятницу, ближе к полудню, когда после бессонной ночи я лежал одетый на диване, снаружи донеслись звуки стрельбы. Я быстро подошел к окну. По улице, растянувшись по всей ее ширине от дома до дома, двигалась цепь жандармов, беспорядочно стреляя в разбежавшихся людей. Потом подъехали на грузовиках эсэсовцы и окружили большой отрезок улицы, где стоял и мой дом. Гестаповцы входили группами поочередно во все дома и быстро возвращались, выводя из них мужчин. Вошли они и в наше парадное.

Теперь уже не было ни малейших сомнений в том, что меня найдут. Я пододвинул кресло к книжной полке, чтобы легче дотянуться до крюка, приготовил веревку и подошел к двери, чтобы прислушаться. С нижних этажей доносились крики немцев. Через полчаса все снова утихло. Я поглядел в окно: блокаду сняли, а грузовики СС уехали.

Значит, пронесло.

После этих дней постоянного наряджения меня ждала новая беда: голод, который не доводилось испытывать и в худшие времена лишений в гетто.

14 МОШЕННИЧЕСТВО ШАЛАСА

С момента ухода Левицкого прошла неделя. Гестапо не появлялось. Постепенно я стал успокаиваться, но возникла опасность другого рода: запасы продуктов кончались. Оставалось еще немного фасоли и крупы. Я ограничивался двумя приемами пищи в день. Варил себе суп из ложки крупы и десяти зерен фасоли, но, несмотря на такую экономию, еды могло хватить всего на несколько дней.

Однажды утром к дому, где я жил, опять подъехал немецкий армейский автомобиль. Оттуда вылезли двое эсэсовцев, один из них с какой-то бумажкой в руках, и вошли в здание. Я был уверен, что это за мной, и снова стал готовиться к смерти. Но и на этот раз им нужен был не я.

Продукты кончились. Уже два дня я ничего не ел. Оставалось выбирать одно из двух: умереть с голоду или рискнуть и купить хлеб у ближайшей уличной торговки. Я предпочел второе. Тщательно побрился, оделся и в восемь утра, стараясь вести себя совершенно спокойно, вышел из дома. Несмотря на мои явно неарийские черты лица, никто не обратил на меня внимания. Я купил хлеб и вернулся. Это было 18 июля 1943 года. Этой единственной буханкой на большее не было денег я питался до 28 июля, то есть целых десять дней.

Утром 29 июля раздался тихий стук в дверь. Я затаился. Тогда кто-то осторожно вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Вошел неизвестный мне молодой человек. Быстро закрыв за собой дверь, он шепотом спросил:

Не было ничего подозрительного?

Нет.

Только теперь его взгляд остановился на мне. Осмотрев меня с ног до головы, пришедший удивился:

Вы живы?

Я пожал плечами. Вряд ли меня можно спутать с мертвецом, так какой смысл отвечать? Он усмехнулся и наконец решил открыться, что он брат Левицкого. Пришел, чтобы сказать, что завтра мне принесут еду, а через несколько дней переведут в другое место, поскольку гестапо по-прежнему ищет Левицкого и все еще может сюда нагрянуть.

Через день действительно пришел инженер Гембчинский с каким-то человеком, которого представил мне как радиотехника по фамилии Шалас, добавив, что он участник подполья и ему можно доверять. Гембчинский бросился ко мне с объятиями: он был абсолютно уверен, что я уже умер от истощения. Рассказал, как все знакомые волновались за меня, потому что долгое время невозможно было и близко подойти к этому дому, взятому агентами полиции под постоянное наблюдение. Теперь, когда наблюдение снято, они решили забрать тело и похоронить его как подобает. С этой минуты мною по поручению подпольной организации займется Шалас.

Но он оказался довольно странным опекуном: заходил раз в десять дней, принося совсем немного еды и объясняя, что на большее у него не было денег. Поэтому я отдавал ему на продажу свои последние вещи, но почти всегда оказывалось, что их у него украли, и опять он приходил со столь малым количеством еды, что их могло хватить от силы на два дня, и мне, бывало, приходилось растягивать их на две недели. Когда, потеряв последние силы от голода, я лежал в постели, уверенный, что на этот раз действительно умру, Шалас снова появился и что-то принес ровно столько, чтобы я не умер и продолжал мучиться. Всегда сияющий, с отсутствующим видом он задавал мне один и тот же вопрос:

Как там, живой еще?

Я был живой, хотя от голода и переживаний заработал желтуху. Шалас не принял этого

близко к сердцу. Рассказал мне забавную, с его точки зрения, историю о своем дедушке, которого неожиданно бросила невеста, узнав, что он заболел желтухой. Желтуха, по мнению Шаласа, была пустяком, из-за которого не стоило огорчаться. В качестве утешения сообщил мне, что союзники высадились на Сицилии, попрощался и ушел. Это была наша последняя встреча. Больше он не показывался, хотя прошло десять дней, двенадцать, две недели

Мне нечего было есть. Не было даже сил, чтобы подняться и добрести до крана с водой. Если бы сейчас появилось гестапо, я не смог бы даже повеситься. Большую часть дня я лежал в летаргии, а просыпаясь, испытывал страшные мучения. У меня уже начали пухнуть лицо, руки и ноги, когда неожиданно пришла жена доктора Мальчевского, о которой мне было известно, что ей пришлось бежать вместе с мужем и Левицким из Варшавы и скрываться. Уверенная, что у меня все в порядке, она зашла просто поболтать и попить со мной чаю. Мальчевская рассказала, что Шалас собирал для меня деньги по всей Варшаве и собрал много, потому что никто их тогда для спасения людей не жалел. При этом он уверял моих друзей, что навещает меня ежедневно и что я ни в чем не нуждаюсь.

Вскоре жена доктора покинула Варшаву, заранее снабдив меня продуктами и обеспечив более надежную помощь. К сожалению, ненадолго.

12 августа в полдень, когда я, как обычно, собирался варить суп, кто-то попытался ворваться ко мне в квартиру. В дверь не стучали, как обычно делали друзья, приходившие ко мне, а просто ломались. Значит, немцы. Но голоса, доносившиеся снаружи, принадлежали женщинам. Одна из них закричала:

Откройте сейчас же, или мы вызовем полицию!

Стучали все громче. Не было сомнения, что мое убежище обнаружено, и соседи, опасаясь кары за скрывающегося в доме еврея, решили меня выдать.

Я быстро оделся, собрал в портфель свои сочинения и еще какие-то мелочи. Удары ненадолго прекратились. Наверняка, разозленные моим молчанием, женщины решили исполнить свою угрозу и были уже на полпути к ближайшему полицейскому участку. Я тихонько открыл дверь и выскользнул наружу, но сразу же наткнулся на одну из них, очевидно оставшуюся караулить, чтобы я не сбежал.

Она преградила мне дорогу:

Вы из этой квартиры? Она показала рукой на дверь. Вы здесь не зарегистрированы.

Я ответил, что рядом живет мой сослуживец, которого мне не удалось застать. Это было нелепое объяснение, которое, конечно, не могло удовлетворить разъяренную женщину.

Покажите удостоверение! Покажите документы! кричала она все громче.

Все больше жильцов, привлеченных шумом, стали открывать двери и выглядывать из квартир. Я оттолкнул бабу в сторону и ринулся вниз по лестнице, слыша за собой ее крик:

Закрывать ворота! Не выпускать его!

На первом этаже я промчался мимо сторожихи, которая, к счастью, ничего не поняла из криков, долетающих сверху. Я добежал до ворот и очутился на улице.

Избежав смерти, я оказался перед лицом другой опасности: среди бела дня я стоял на тротуаре, небритый, нестриженный уже много месяцев, в помятой и грязной одежде. Одно этого было достаточно, чтобы обратить на себя внимание, не говоря уже о еврейской внешности.

Я свернул в ближайший переулок и побежал, не разбирая дороги. Куда податься? Единственными, кого я знал с улицы Нарбута, были супруги Болдок. Я решил пойти к ним. Но, будучи не в себе, заблудился среди улочек в районе города, который так хорошо знал. Я блуждал там, наверное, с час, прежде чем смог найти их дом. Долго колебался перед тем, как позвонить в дверь, за которой надеялся найти спасение. Я знал, какой опасности подвергаю этих людей своим присутствием. Если бы меня здесь нашли, то расстреляли бы вместе с хозяевами. Но

выбора не было.

Когда мне открыли, я начал с того, что зашел на минутку только позвонить, чтобы договориться, где спрятаться. Но звонки не дали никаких результатов. Одни не могли меня принять, а другие не могли выйти из дома, поскольку именно в этот день партизанский отряд совершил налет на крупнейший банк в Варшаве и весь центр города был оцеплен полицией. В этой ситуации супруги Болдок решили, что я заночую этажом ниже, в квартире, от которой у них были ключи. Только на следующий день появился мой коллега с Радио Збигнев Яворский, чтобы взять меня к себе на какое-то время.

Итак, меня снова спасли. Я находился у милых, доброжелательных людей. Я вымылся, после чего мы вкусно поужинали, даже с водкой, что, к сожалению, повредило моей печени. Несмотря на приятную атмосферу, а главное, возможность вволю наговориться после долгих месяцев вынужденного молчания, я не хотел злоупотреблять гостеприимством хозяев, чтобы своим присутствием не навлек на них беду. Зофья Яворская и ее мужественная мать, семидесятилетняя госпожа Бобровницкая, искренне уговаривали меня оставаться у них пока это будет необходимо.

Все попытки найти новое убежище закончились ничем, никто не хотел прятать еврея, сознавая, что расплатой за это будет только одно смерть.

У меня уже начиналась тяжелая депрессия, когда судьба неожиданно, в последний момент послала мне спасение в лице Хелены Левицкой, невестки Зофьи Яворской. Мы никогда не встречались раньше, и вот теперь, узнав о том, что я пережил, она тут же согласилась взять к себе человека, которого видела впервые в жизни. Она плакала обо мне, хотя ее собственная жизнь тоже была нелегкой и, конечно, судьба ее близких и друзей давала немало поводов для слез.

Всю последнюю ночь у супругов Яворских я не сомкнул глаз от страха, потому что по всей округе свирепствовало гестапо. 21 августа я перебрался в большой дом на проспекте Независимости. Этому месту суждено было стать моим последним убежищем перед тем, как город был разрушен в огне Варшавского восстания. Войти в большую комнату на пятом этаже можно было прямо с лестничной клетки. Там были газ и электричество, но отсутствовала вода. Приходилось выходить за ней в коридор к крану около общего туалета. Вокруг меня жили интеллигентные люди, в отличие от соседей на Пулавской улице, которые целый день ругались, долбили в расстроенное фортепиано, а потом хотели выдать меня немцам. Здесь я поселился рядом с одной супружеской парой, которые находились в розыске как участники Сопrotивления, и потому не ночевали дома. Это, довольно опасное для меня соседство, я предпочел соседству покорных властям примитивов, готовых от страха выдать меня.

В ближайших домах обитали главным образом немцы и размещались военные учреждения. Напротив моих окон стояло большое недостроенное здание госпиталя, где сейчас был склад. Каждый день я видел там русских военнопленных, вносящих и выносящих из него разные тяжелые ящики. Итак, на этот раз я оказался в самой пасти льва в районе Варшавы, населенном, в основном, немцами. Может, так было лучше и безопаснее.

Жизнь на новом месте была бы совсем хороша, если бы мое здоровье не начало сильно сдавать. Все больше беспокоила печень. В начале декабря случился такой сильный приступ, что понадобилась вся сила воли, чтобы удержаться от крика. Это длилось всю ночь. Врач, которого привела Левицкая, определил острое воспаление желчного пузыря и прописал строгую диету. К счастью, я уже не зависел от милости Шаласа, обо мне заботилась самоотверженнейшая из женщин Хелена. Благодаря ей я медленно выздоравливал.

Наступил 1944 год. Я изо всех сил старался вести по возможности нормальный образ жизни. С девяти до одиннадцати учил английский, потом до часа читал, потом варил себе обед,

а между тремя и семью часами снова читал и занимался английским.

Тем временем немцы терпели одно поражение за другим. Ни о каких контрнаступлениях уже не было речи. На всех фронтах они отступали на заранее подготовленные позиции, объясняя в печати, что покидают не представляющие интереса территории, выгодно сокращая линию фронта.

Но, одновременно с военными неудачами, немцы усиливали террор на оккупированных территориях. Публичные казни, которые они начали проводить в Варшаве осенью прошлого года, стали теперь чуть ли не ежедневными. С присущей им педантичностью немцы не пожалели времени, чтобы уже тщательно очищенное от людей гетто вообще стереть с лица земли. Они рушили дом за домом, улицу за улицей и по железной дороге вывозили обломки за город. Соппротивление евреев уязвило их самодовольство, и эти хозяева мира решили не оставить там камня на камне.

Монотонность моей жизни в начале года была нарушена событием, которое я, наверное, меньше всего мог ожидать. Однажды днем кто-то стал подбираться к моей двери, медленно, тихо, с усилием и перерывами. Сперва я не мог сообразить, кто это мог быть. Только после длительных раздумий догадался, наверное, вор! Возникла проблема: с точки зрения закона мы оба были преступниками, я в силу биологического факта принадлежности к евреям, он же как вор. Должен ли я угрожать ему, что позову полицию, когда он войдет? Или, скорее, он мне будет угрожать? А может, мы оба поведем друг друга в участок? Или двум преступникам следует заключить пакт о ненападении? Но взлом не состоялся, вора спугнул кто-то из жильцов.

6 июня 1944 года днем ко мне пришла Хелена и с сияющим лицом сообщила, что американцы и англичане в Нормандии. Они сломали сопротивление немцев и движутся вперед. Хорошие новости множились с быстротой молнии: Франция занята союзниками, Италия капитулировала, Красная Армия перешла границы Польши, Люблин освобожден.

Русская авиация все чаще совершала налеты на Варшаву, вспышки от разрывов я мог видеть из своего окна. С востока доносился какой-то глухой гул. Сначала слабый, а потом все более мощный это была русская артиллерия. Немцы эвакуируются из Варшавы, вывозят и недостроенный госпиталь, что напротив. Я смотрю на это с надеждой и растущей в душе уверенностью, что буду жить! Буду свободен!

29 июля зашла Левицкая. В Варшаве только ждали сигнала к началу восстания! Наши организации спешно скупали оружие отступающих и деморализованных немцев.

Покупка нескольких автоматов была поручена Збигневу Яворскому моему незабываемому хозяину с улицы Фалата К несчастью, он нарвался на тех, кто был хуже немцев, на украинцев. Взяв деньги и пообещав отдать оружие во дворе Сельскохозяйственной академии, они завели его туда и застрелили.

1 августа Хелена пришла около четырех часов дня, чтобы отвести меня в подвал. Через час должно было начаться восстание! Подчиняясь безошибочному инстинкту, который спасал меня уже не раз, я решил остаться наверху. Опекунша прощалась со мной со слезами на глазах, как с сыном, и спросила напоследок сдавленным голосом:

Владек, увидимся ли мы еще когда-нибудь?

Несмотря на заверения Хелены, что восстание начнется в пять, то есть уже через несколько минут, я не мог этому поверить. Во время оккупации не раз появлялись слухи о тех или иных грядущих политических событиях, но они часто не сбывались. Эвакуация немцев из Варшавы, которую я наблюдал из окна, а также паническое бегство на запад нагруженных под завязку грузовиков и частных автомобилей в последние дни почти прекратились. И грохот русских орудий, который так ясно был слышен несколько дней назад, стал отдаляться от города и слышался все слабее.

Я подошел к окну. На улице все спокойно, лишь движение пешеходов стало чуть менее оживленным, чем обычно, правда, в этом месте проспекта Независимости оно никогда и не было слишком интенсивным. К остановке подъехал трамвай со стороны Политехнического института. Почти пустой. Вышло несколько человек: какие-то женщины и старик с палкой. Разошлись в разные стороны.

Еще показалось трое молодых людей, с какими-то продолговатыми предметами в руках, завернутыми в газеты. Они остановились у первого вагона. Один из них посмотрел на часы, потом огляделся кругом, присел на корточки прямо на мостовой, приложив сверток к плечу, неожиданно раздалась автоматная очередь. Бумага на конце свертка стала тлеть, открывая дуло автомата. Двое других в это время лихорадочно распаковывали свое оружие.

Выстрелы молодого человека послужили сигналом для всей округи: теперь стреляли уже везде, а когда близкие разрывы на мгновение утихали, звуки пальбы доносились из центра города, беспрестанные, частые, сливающиеся в один сплошной гул, напоминающий бульканье кипящей воды под крышкой огромного котла. Улица опустела. Только старик с палкой еще бежал по панели, с трудом переводя дух, но и он сумел укрыться в ближайшей подворотне.

Я подошел к двери и приложил к ней ухо. В коридоре и на лестничной клетке шум и неразбериха. Со стуком отворялись и захлопывались двери квартир. Слышалась беспорядочная беготня. Какая-то женщина взывала: Господи боже! Другая кричала в лестничный пролет: Ежи, только береги себя!, а снизу доносился ответ: Хорошо, хорошо! Женщины уже плакали, а одна из них, не сумев, по-видимому, справиться с нервами, рыдала в голос. Низкий мужской голос успокаивал ее негромко: Это ненадолго, мы все этого ждали

Информация Хелены оказалась верной. Восстание началось.

Я сел на диван, стал думать, что мне теперь делать.

Уходя, Хелена, как обычно, закрыла меня снаружи на ключ и висячий замок. Я подошел к окну. В арках домов стояли группы немцев, к ним подходили подкрепления со стороны Мокотовских полей. Все в касках, с автоматами, с заткнутыми: за пояс гранатами. Боев на нашем участке улицы не было, Если немцы время от времени и стреляли, то лишь изредка, по окнам, где стояли люди. Из окон не отвечали. Настоящая канонада начиналась только за улицей Шестого Августа, откуда стреляли в направлении Политехнического института и в противоположном в сторону Фильтров.

Может, мне и удалось бы, идя дворами к Фильтрам, пробраться в центр, но я был без оружия, а дверь по-прежнему заперта. Не думаю, что соседи, занятые своими делами, обратили бы внимание на шум, если бы я стал стучать в дверь. Кроме того, мне пришлось бы просить их, чтобы они позвали подругу Хелены: она единственная во всем доме знала, что я здесь скрываюсь, у нее на всякий случай хранились ключи от двери. Я решил, что следует подождать до завтра, а там будет видно.

Тем временем стрельба усиливалась. Звуки винтовочных выстрелов заглушались разрывами

ручных гранат, а может, даже залпами артиллерии, которую, по-видимому, тоже пустили в ход. Вечером зарево первых пожаров озарило сумерки. Оно подсвечивало небо в разных местах, пока еще слабо, то разгораясь, то угасая. С наступлением темноты стрельба утихла. Теперь слышны были только единичные взрывы и короткие автоматные очереди.

Движение на лестничной клетке полностью затихло. Скорее всего, жильцы забаррикадировались в квартирах, переваривая впечатления от первого дня восстания. Поздним вечером я неожиданно заснул крепким сном, устав от нервного напряжения, и не успев даже раздеться.

Проснулся так же внезапно. Было очень рано, только светало. Первый звук, который я услышал, был стук извозчицей пролетки. Выглянул в окно. Пролетка с поднятым верхом ехала не спеша, как ни в чем не бывало. Улица была пуста. Только по тротуару шли двое мужчины и женщина с поднятыми руками. Из окна нельзя было увидеть сопровождавших их немцев. Вдруг эти двое бросились бежать. Женщина крикнула: Влево, влево! Мужчина повернул и исчез из моего поля зрения. В тот же момент я услышал очередь, женщина остановилась, схватилась за живот и мягким движением, согнув колени, осела на землю. Не упала, а присела на мостовой, коснувшись правой щекой асфальта, и замерла в неудобной, неестественной позе.

С наступлением дня стрельба усилилась. Когда на небе, в тот день совершенно безоблачном, вошло солнце, вся Варшава уже кипела от автоматного огня, в который все чаще вплетались разрывы гранат, залпы минометов и тяжелой артиллерии.

Около полудня ко мне поднялась подруга Хелены. Принесла поесть и сообщила новости. Обстановка в нашем районе складывалась неблагоприятно: с самого начала он находился под полным контролем немцев, и повстанцы едва успели помочь молодежи из боевых отрядов пробиться отсюда к центру города. Не могло быть и речи о том, чтобы выйти из дома. Нужно ждать, пока нас отобьют повстанческие отряды.

Может быть, смогу как-нибудь туда пробраться? спросил я.

Подруга Хелены посмотрела на меня с жалостью:

Но ведь вы полтора года не выходили на улицу! Вы и полпути не пройдете, как откажут ноги.

Она покачала головой, взяла меня за руку и добавила успокоительно:

Лучше оставайтесь здесь. Надо переждать.

Она не падала духом. Вывела меня на лестничную клетку, к окну, выходящему на противоположную сторону дома. Целый квартал двухэтажных домиков поселка Сташица вплоть до Фильтров был в огне. Слышался треск горящих стропил, шум падающих перекрытий, крики людей и выстрелы. Облако красно-коричневого дыма закрывало небо. Когда ветер на минуту развеял его, вдалеке на горизонте сталясно виден трепещущий красно-белый флаг.

Проходили дни. Помощи из центра города все не было. Привыкнув годами скрываться ото всех, кроме группы друзей, помогавших мне, я не мог пересилить себя и выйти из своей комнаты на глазах у соседей, чтобы жить со всеми общей жизнью в нашем отрезанном от остального мира доме. Тот факт, что я здесь прячусь, не улучшил бы жильцам настроения. Немцы расправились бы с ними с особой жестокостью, узнав, что в доме находился неариец. Кроме того, мое присутствие никак не облегчит их положения. Я решил ограничиться все тем же прослушиванием через дверь разговоров, которые велись на лестнице.

Новости не радовали: в центре города все еще шли бои, подкрепления извне так и не поступило, а в нашем районе немцы усилили террор. В одном из домов на улице Лангевича украинцы сожгли всех жильцов заживо, в другом всех расстреляли, а где-то поблизости убили известного актера Мариуша Машинского. Соседка снизу перестала ко мне приходить, ей хватало своих забот. У меня кончалась еда, состоявшая теперь только из остатков сухарей.

11 августа нервозность и беспокойство в доме заметно возросли. Прислушиваясь через дверь, я не мог понять, в чем дело. Все жильцы собрались на нижних этажах и совещались, то громко, то вдруг совсем неслышно. В окно я видел группки людей, которые время от времени выскальзывали из соседних домов и тихонько подкрадывались к нашему, а потом такими же перебежками двигались дальше. Вечером люди с нижних этажей бросились вверх по лестнице, и часть из них оказалась у моей квартиры. Из их перешептываний я узнал, что в здание ворвались украинцы. Но на этот раз они пришли не затем, чтобы убивать. Пошныряли по подвалам, забрав запасы сложенных там продуктов, и ушли. Вечером я услышал скрежет у своих дверей: кто-то снял висячий замок и быстро сбежал по лестнице вниз. Что это могло значить? В тот день улицы засыпали с самолетов листовками, только чьими?

12 августа на лестнице началась паника. Люди в ужасе бегали вверх и вниз. Из обрывков разговоров я понял, что дом оцеплен немцами и его приказано немедленно покинуть, поскольку он сейчас будет разрушен артиллерией. Я было бросился одеваться, но тут же осознал, что не могу выйти на улицу, потому что сразу попаду в руки СС и меня расстреляют. Решил остаться. С улицы доносились выстрелы и гортанный крик:

Всем выйти! Немедленно покинуть дом! Я выглянул на лестничную клетку. Было пусто и тихо. Я спустился на половину лестничного марша и увидел в окно, выходящее на Сендзевскую, танк, пушкой нацеленной на наш дом, на высоту моего этажа. Через мгновение увидел пламя, ствол пушки дернулся, и я услышал грохот рухнувшей рядом стены. Вокруг танка бегали солдаты с закатанными рукавами и с какими-то жестянками в руках. С первого этажа начали подниматься клубы черного дыма, снаружи вдоль стен, а внутри по лестничной клетке. Несколько эсэсовцев зашли в дом и быстро взбежали вверх по лестнице. Я закрылся в комнате, высыпал на ладонь полный флакон таблеток сильного снотворного, которым пользовался во время приступов болей в печени, а ёпоставил пузырек с опиумом. Хотел проглотить снотворное и запить его опиумом, как только немцы начнут ломиться в дверь. И тут же, ведомый необъяснимым инстинктом, передумал. Выскользнул из комнаты, добежал до лесенки, ведущей наверх, и, оказавшись под крышей, оттолкнул лесенку и захлопнул за собой люк.

В это время немцы разбивали прикладами двери квартир на четвертом этаже. Один из солдат поднялся выше и зашел в мою комнату. Остальным, наверное, казалось, что оставаться дольше в этом доме небезопасно, и они торопли его:

Schneller, Fischke!

Когда их шаги утихли, я спустился с крыши, где уже начал задыхаться от дыма, поступавшего через вентиляционные отверстия из квартир снизу, и вернулся в свою комнату. Я надеялся, что подожжен только первый этаж, для устрашения, и жильцы после проверки документов, вернутся в свои квартиры. Взяв какую-то книжку, пытался читать, но не мог понять в ней ни слова. Отложил чтение в сторону, закрыл глаза и стал ждать, пока не услышу человеческие голоса.

Снова выйти в коридор я решился только с наступлением сумерек. Моя комната все больше наполнялась чадом и дымом, красноватым в отблесках огня, освещавшего все за окном. На лестничной клетке стоял такой густой дым, что не было видно перил. С нижних этажей доносился гул сильного пожара, треск горящей древесины и грохот падающих перекрытий. Спуститься по этой лестнице вниз, было невозможно.

Я подошел к окну. На небольшом расстоянии от дома стояло оцепление СС. Штатских среди них не было. Весь дом был охвачен огнем, а немцы, повидимому, ждали только, когда огонь охватит верхние этажи.

Вот так, значит, выглядела моя смерть смерть, что ходила за мной по пятам целых пять лет, а я ускользал от нее, и надо же было, чтобы она настигла меня именно сейчас. Сколько раз я

пытался представить ее. Думал, что немцы схватят меня и будут пытаться, а потом застрелят или удушат в газовой камере. Но и помыслить не мог, что сгорю заживо.

Коварство судьбы вызвало у меня приступ смеха. Я был совершенно спокоен, с полным сознанием того, что изменить ход событий уже нельзя. Осмотрелся в комнате: ее контуры в сгущающемся дыме и сумраке стали нечеткими, и это производило страшное, гнетущее впечатление. Мне было все труднее дышать, я чувствовал нарастающий шум в голове и почти терял сознание. Первые признаки отравления угарным газом.

Я снова лег на топчан. Какой смысл позволить спалить себя живьем, если можно этого избежать, проглотив снотворное. Все равно моя смерть будет намного легче, чем смерть родителей, братьев и сестер в Трехлинке. В эти последние минуты я думал только о них.

Достав флакончик с таблетками, я высыпал их все в рот и проглотил. Хотел выпить и опиум как наркотик, для верности, но не успел. Таблетки, принятые на пустой желудок, подействовали мгновенно.

Я уснул.

16 СМЕРТЬ ГОРОДА

Я не умер. Наверное, таблетки были слишком старые. Очнулся утром. Меня тошнило. В голове шумело, в висках стучало, глаза вылезали из орбит, а руки и ноги были как парализованные. Говоря по правде, меня разбудило какое-то щекотание по шее. По мне ползала муха, наверное, тоже полуживая и одуревшая от пережитого за эту ночь. Мне пришлось напрячь все силы, чтобы отогнать ее.

Первым моим чувством было не разочарование, что не умер, а радость, что остался жив. Я ощущал неудержимое, просто животное желание жить любой ценой. Лишь бы теперь как-нибудь спастись, раз уж удалось пережить эту ночь в горящем доме

Я лежал еще какое-то время, приходя в себя и копя силы, чтобы суметь сползти с тахты и добраться до двери. В комнате попрежнему было полно дыма, а дверная ручка, когда я за нее схватился, оказалась такой горячей, что сразу обожгла руку, но потом все же смог повернуть ее, преодолевая боль. На лестнице было меньше дыма, чем в комнате. Он выходил на улицу через высокие оконные проемы на лестничной клетке, оставшиеся без стекол. Ступени были целы, и можно было рискнуть.

Я собрал все свои силы, чтобы встать, вцепился в перила и начал спускаться вниз.

Этаж ниже полностью выгорел здесь пожар остановился. Косяки входных дверей еще тлели, а внутри ощущалось дрожание пышущего жаром воздуха. На полу догорали остатки мебели и еще каких-то вещей, которые почти уже превратились в белый пепел.

На лестнице второго этажа лежал труп сгоревшего мужчины в обуглившейся одежде, жутко вспухший, коричневого цвета. Он загораживал дорогу. Нужно было как-то обойти это препятствие, чтобы двигаться дальше. Я едва волочил ноги, но все же казалось, что смогу их приподнять, чтобы переступить через труп. Но, пытаясь это сделать, я зацепился ногой за живот мертвеца, потерял равновесие, упал на него, и мы вместе кубарем покатались вниз, пролетев половину лестничного марша, да так удачно, что я оказался ближе к выходу, и смог уже без препятствий продолжить свой путь. Я выбрался во двор, окруженный низкой, поросшей диким виноградом оградой. Дотащившись до нее, я спрятался в углу, накрывшись листьями винограда там образовалось что-то вроде ниши, и стал ждать. Меня скрывали и кусты помидоров, которые росли на грядке возле дома.

Стрельба не утихала. Надо мной пролетали снаряды, я слышал голоса немцев, проходящих по тротуару с другой стороны ограды. К вечеру я заметил трещину на стене горящего дома, от которого отделяло всего несколько метров. Если стена рухнет, меня наверняка завалит. Но я все же решил высидеть здесь до сумерек, пока ко мне не вернуться силы после вчерашнего отравления снотворным.

Когда стемнело, я вернулся в подъезд, но подняться наверх не отважился. Квартиры по-прежнему горели, и этаж, где я жил, мог в любую минуту заняться огнем. Я решил предпринять кое-что другое.

На противоположной стороне проспекта Независимости стояло огромное недостроенное здание госпиталя, где размещались немецкие военные склады. Я попытался проникнуть туда. Через черный ход вышел на проспект Независимости. Хотя уже наступил вечер, было светло. Широкая проезжая часть была усеяна трупами, среди которых я заметил останки женщины, которую застрелили на второй день восстания. Она так и осталась лежать здесь. Все освещалось красным заревом пожара. Я лег на живот и пополз в сторону госпиталя.

Время от времени мимо проходили немцы поодиночке и группами. Тогда я замирал, прикидываясь мертвым. Воздух был пропитан запахом гари, который смешивался со смрадом

разлагавшихся тел. Я старался двигаться как можно быстрее, но широкой мостовой не было конца и переправа казалась вечностью.

Все же я добрался до темного здания госпиталя, проник в ближайший подъезд и тут же провалился в глубокий сон.

На следующее утро решил осмотреть здание. К своему ужасу, обнаружил, что здесь было полно кроватей, матрацев, металлической и фарфоровой посуды и других ходовых вещей, за которыми немцы наверняка будут часто приходить. Зато ничего съестного найти не удалось. В отдаленном углу я наткнулся на свалку рухляди, старья, каких-то труб и печек. Я спрятался там и пролежал два дня подряд.

15 августа, как я подсчитал при помощи карманного календарика, который всегда был при мне (в нем я педантично вычеркивал день за днем), я почувствовал такой страшный голод, что решил отыскать здесь еду, во что бы то ни стало. Тщетно. Я забрался на подоконник забитого досками окна и сквозь щель стал наблюдать за улицей. Над трупами, лежавшими на проезжей части, носились тучи мух. Недалеко, на углу Фильтровой, стояла вилла, обитатели которой вели до странности мирный образ жизни. Они сидели на террасе и пили чай. Со стороны улицы Шестого Августа двигался украинский отряд СС. Солдаты собирали трупы, складывали штабелями и, облив бензином, поджигали.

Вдруг в коридоре послышались шаги. Они приближались. Я спрыгнул с подоконника и спрятался в каком-то боксе за первым попавшимся ящиком. Вошел эсэсовец. Покрутил головой и вышел. Я выскочил в коридор, добежал до лестницы, взлетел по ступенькам вверх и скрылся в своей кладовке. Вскоре в здание госпиталя вошел большой отряд солдат. Они стали обыскивать все помещения. Но до моего убежища не дошли, хотя я слышал их совсем близко как они смеются, напевают, посвистывают и как их подгоняют: Все проверено?

Два дня спустя я снова отправился на поиски воды и пищи через пять дней после того, как ел в последний раз. В здании не было водопровода, но на случай пожара были приготовлены бочки, до краев наполненные водой. Ее поверхность была покрыта бензиновой пленкой, усеянной дохлыми мухами, пауками и комарами. Я жадно бросился пить, не обращая на это внимания. Но пришлось остановиться, потому что вода была вонючая и трудно было избавиться от множества мертвых насекомых. В столярной мастерской мне удалось найти корки хлеба заплесневевшие, покрытые пылью и мышьиными экскрементами, они оказались настоящим кладом. Незвестный беззубый столяр и не подозревал, что, оставив их здесь, он спас мне жизнь.

19 августа немцы, под аккомпанемент выстрелов и криков, вышвырнули обитателей виллы на улице Фильтровой. Во всей округе я остался один. В здание, где я прятался, все чаще стали заходить эсэсовцы. Сколько я смогу тут продержаться? Неделю, две? В любом случае один конец самоубийство. На этот раз я, наверное, смог бы только перерезать себе вены старой бритвой другой возможности покончить с собой у меня здесь не было. В одном из боксов я нашел немного ячменя и сварил его ночью на огне, разожженном в печурке, которая стояла в столярной мастерской. Так я насытился на несколько ближайших дней.

30 августа я решил вернуться на развалины моего дома, которые, видимо, уже догорели. Прихватив с собой из госпиталя кувшин с водой, я в полночь пересек улицу. Сначала я собирался спрятаться в подвале, но там тлел уголь, специально подожженный немцами. Поэтому я стал жить на развалинах квартиры на четвертом этаже. В ванне было достаточно воды, пусть она была грязной, все равно для меня она представляла огромную ценность. В несгоревшей кладовке нашелся мешочек сухарей.

Через неделю, охваченный плохим предчувствием, я еще раз сменил место, переселившись на чердак под сгоревшей крышей. В тот же день в дом три раза приходили украинцы и

обыскивали уцелевшие квартиры в поисках чего-нибудь ценного. Когда они ушли, я спустился в квартиру, где прятался всю последнюю неделю. Единственное, что в ней прежде оставалось целым, были печи. Украинцы педантично разбили их, плитку за плиткой, очевидно, искали золото.

На следующий день с утра по обеим сторонам проспекта Независимости были выставлены войска. Посреди образовавшегося коридора гнали людей с вещмешками за спиной, с детьми на руках. Время от времени эсэсовцы и украинцы вытаскивали из этой толпы мужчин и убивали их на глазах остальных, как когда-то делали в гетто. Значит, восстание закончилось поражением?..

Нет! Попрежнему каждый день с шумом, напоминающим полет шмеля, рассекали воздух тяжелые снаряды. Потом слышался такой звук, будто поблизости заводили старые часы, и спустя миг из центра города доносились один за другим сильные взрывы.

18 сентября показали самолеты, с которых стали сбрасывать повстанцам боеприпасы. Я видел парашюты, не знаю, были на них люди или только оружие.

Несколько дней самолеты бомбили районы Варшавы, находившиеся под контролем немцев, а ночью сбрасывали оружие над центром города. Артиллерийский огонь с востока усилился.

5 октября по коридору, образованному немецкими солдатами, из города стали выводить отряды повстанцев; на них были польские мундиры или бело-красные повязки на рукавах. Участники восстания странно контрастировали с надзирающими за их маршем немцами, прекрасно экипированными, сытыми и уверенными в себе. Немцы насмехались над ними, снимали на киноплёнку и фотографировали.

Повстанцы с трудом держались на ногах исхудавшие, грязные и оборванные, но шли так, словно сами выбрали этот маршрут по проспекту Независимости. Они не замечали никого, кроме своих товарищей, следили только за тем, чтобы идти как подобает, и старались поддерживать тех, кто не мог идти сам. Пусть по сравнению со своими победителями они выглядели не лучшим образом, все равно чувствовалось, что поражение не на их стороне. На немцев они не обращали никакого внимания, как будто тех не было вовсе.

Еще в течение восьми дней из Варшавы выводили гражданское население тех, кто еще оставался в городе. Последние жители покинули город 14 октября. Уже наступили сумерки, когда мимо дома, где я прятался, прошла припозднившаяся группа людей, погоняемых эсэсовцами.

Я высунулся из обгоревшего окна и смотрел, пока их сторбившиеся под тяжестью мешков фигуры не растворились в темноте. Теперь я остался один. С несколькими сухарями на дне мешочка и грязной водой в ванне. Вот и весь мой запас. Как долго смогу я продержаться в таких условиях, когда осенние дни становятся все короче и надвигается зима?

Я был один не в доме, и не в округе. А один во всем городе, который еще недавно насчитывал полтора миллиона человек и был одним из богатейших и прекраснейших городов Европы. Сейчас он лежал в руинах. Дома сожжены и разрушены, а под ними, вместе с создаваемыми веками памятниками культуры целого народа, погребены тысячи убитых, чьи тела в эти последние теплые дни осени, разлагаются под развалинами.

Днем город навещали люди с лопатами на плечах мародеры из предместий. Они пробирались тайком, небольшими группами, и шарили в подвалах домов. Кто-то из таких подошел к моему дому. Он не должен меня здесь увидеть. Никто не должен знать, что я здесь. Он уже поднимался по лестнице и приближался к моему этажу, когда я крикнул грубо и угрожающе:

Was ist los?! Rrraus!!!

Он убежал, как испуганная крыса, последний из бедняков, которого мог напугать мой голос, голос последнего из бедняков.

В конце октября я наблюдал со своего чердака, как немцы поймали такую стаю гиен. Мародеры пытались оправдываться. Бормотали непрерывно: Из Прушкова, из Прушкова, показывая при этом на запад. Четверых мужчин из этой группы эсэсовцы поставили к ближайшей стене и расстреляли на месте, не обращая внимания на скулеж и мольбы сохранить им жизнь. Остальным приказали вырыть в саду одного из особняков яму, закопать тела и после бежать.

С того момента даже мародеры перестали появляться в квартале, где я оставался единственным жителем.

Приближалось 1 ноября. Стало холодно, особенно по ночам. Чтобы не сойти с ума от одиночества, я решил вести как можно более упорядоченный образ жизни. Со мной по-прежнему были мои часы, довоенная Омега, которую вместе с авторучкой моим единственным богатством берег как зеницу ока. По этим часам, которые всегда аккуратно заводил, я составил себе план занятий. В течение всего дня я лежал без движения, чтобы экономить тот ничтожный запас сил, который еще оставался. Только раз около полудня я протягивал руку и брал лежащие рядом сухари и чашку с водой. Таков был скудный рацион. С утра и до этого обеда я восстанавливал в памяти такт за тактом все произведения, которые когда-либо играл.

Как потом оказалось, эти репетиции не были лишены смысла; вернувшись к профессиональной деятельности на Польском радио, я знал весь репертуар назубок, будто в течение всех военных лет не переставал играть. После обеда я вспоминал содержание всех прочитанных книг и повторял английские слова. Я сам себе давал уроки английского: формулировал вопросы, на которые старался отвечать правильно и полно.

В сумерки я засыпал, просыпался около часа ночи и, светя себе спичками, которые нашел в какой-то квартире, отправлялся на поиски пищи. Я рылся в подвалах и сгоревших квартирах, находя остатки несъеденной каши, заплесневелые куски хлеба, прогорклую муку и воду в ваннах, ведрах и кастрюлях. Во время своих вылазок я каждую ночь по нескольку раз проходил мимо лежавших на лестнице обугленных останков мужчины, единственного товарища, чьего присутствия мог не бояться. Однажды я неожиданно нашел в подвале настоящий клад пол-литра спирта. Я решил сохранить его, чтобы выпить за победу, если доживу до конца войны. Днем, когда я лежал на чердаке, в дом в поисках добычи часто заходили немцы или украинцы. Каждый их приход стоил мне огромного напряжения мысль, что меня найдут и убьют, вызывала смертельный ужас. Но на чердак они не заглянули ни разу, хотя таких визитов я насчитал более

тридцати.

Наступило 15 ноября. Выпал первый снег. Холод донимал меня все сильнее, несмотря на то что я лежал под кучей тряпья, которое насобирал во время ночных вылазок. Теперь по утрам меня покрывал слой белого пушистого снега. Логово я устроил в углу чердака, под сохранившейся частью крыши, по большей части разрушенной, куда снег наметало со всех сторон.

Однажды я подложил кусок сукна под осколок оконного стекла и в этом импровизированном зеркале увидел себя. В первую минуту просто не мог поверить, что безобразная маска, представшая передо мной, это я. Много месяцев я не стригся, не брился и не мылся. На голове образовался высокий свалывшийся колтун. Лицо обросло черной бородой довольно внушительных размеров. Кожа на щеках тоже была черной, веки воспалены, а лоб покрыт струпьями лишая.

Но больше всего я страдал от отсутствия информации о том, что делалось на фронте и у повстанцев. Варшавское восстание закончилось поражением. Зачем себя обманывать? Но может быть, где-то на окраинах города сопротивление еще не умерло? Возможно, за Вислой, на Праге, откуда доносились единичные артиллерийские залпы? Как шло восстание вне Варшавы? Где находились советские войска? Каковы успехи союзников на западе? От ответов на эти вопросы зависела моя жизнь или смерть. Смерть от голода или холода, которая не заставит себя ждать, если раньше немцы не найдут меня.

На следующий день я решил потратить часть небольшого запаса воды на то, чтобы помыться. Еще я хотел развести в какой-нибудь уцелевшей печурке огонь и сварить остатки крупы. Уже более четырех месяцев я не ел горячей пищи, и с наступлением сильных холодов все больше страдал от этого. Чтобы выполнить оба пункта моего плана помыться и приготовить обед, требовалось покинуть укрытие в светлое время дня. Уже спустившись вниз, на лестницу, я заметил, что у военного госпиталя напротив остановился отряд немцев. Они принялись разбирать деревянный забор. Но мне так сильно хотелось горячей каши, что я решил не отказываться от задуманного. Было такое чувство, что если я сейчас не проглочу чего-нибудь горячего, то заболую.

Я уже возился у печурки, как вдруг раздался топот солдат, бегущих вверх по лестнице. Я бросился вон из квартиры и спрятался на чердаке. Успел. И в этот раз немцы пришли, покрутились и ушли. Я вернулся на кухню. Чтобы развести огонь, нужно было при помощи найденного здесь ржавого ножа отколоть от обгоревшей двери немного щепок. Острый конец щепки заноза длиной более сантиметра глубоко вошел мне под ноготь большого пальца правой руки. Да так неудачно, что вытащить ее не было никакой возможности. Это мелкое происшествие могло иметь опасные последствия: у меня не было никаких дезинфицирующих средств, я жил в грязи и мог получить заражение крови. Даже если бы это заражение не распространилось дальше пальца, он бы наверняка деформировался, и это помешало бы моей карьере пианиста, доживи я до конца войны. Я решил подождать до завтра и, в случае необходимости, разрезать ноготь бритвой.

Расстроенный, я стоял, разглядывая палец, и так погрузился в свои мысли, что не сразу понял, что с лестницы снова послышались шаги. Бросился к выходу на чердак, но было уже поздно. В упор на меня из-под каски смотрело тупое лицо полуинтеллигента. То был немецкий солдат.

Он не меньше меня испугался внезапной встречи, но постарался принять грозный вид. В руках у него был автомат. На ломаном польском языке спросил, что я тут делаю. Я ответил, что раньше жил здесь, а теперь перебрался в пригород Варшавы и вернулся взять что-нибудь из своих вещей. Объяснение, принимая во внимание мой внешний вид, выглядело нелепо. Немец

направил на меня автомат и приказал следовать за ним. Я сказал, что пойду, но моя смерть будет на его совести, а вот если он позволит мне тут остаться, я дам ему пол-литра спирта. Он охотно согласился на выкуп, но предупредил, что еще вернется и я снова должен буду дать ему спирта. Когда он ушел, я моментально взобрался на чердак, втянул лестницу наверх и закрыл за собой люк.

Через четверть часа он вернулся, на этот раз в компании других солдат и унтер-офицера. Услышав их шаги, я сразу взобрался на уцелевшую часть крыши. Крыша была крута. Я лежал навзничь, упираясь ногами в водосточную трубу. Если бы она согнулась или обломилась, я, потеряв опору, рухнул бы с шестого этажа на улицу. Но труба выдержала, и благодаря этому новому укрытию, найденному случайно, в панике, я остался жив. Немцы обыскали весь дом. Они заглянули и на чердак, поставив один на другой столы и столики, но заглянуть на крышу им не пришлось в голову. Наверное, им показалось, что там невозможно удержаться. Ругаясь и обзывая меня свиньей и бандитом, они ушли ни с чем. Этот приход немцев не предвещал ничего хорошего.

Напугавшись не на шутку, я решил теперь все дни лежать на крыше и только в сумерках спускаться на чердак. От холодного кровельного железа у стыли руки и ноги, тело затекало из-за неестественной напряженной позы. Но я уже столько вынес, что можно было потерпеть еще неделю, пока немцы, знавшие, что я здесь скрываюсь, закончат работу в госпитале и перейдут в другое место.

Было десять часов утра. Для подсобных работ на стройке эсэсовцы привели мужчин в гражданской одежде. Я лежал, распластавшись на крыше, и вдруг рядом со мной ударила автоматная очередь, над головой раздался свист или звук, напоминающий чирикание стаи пролетающих воробьев. Вокруг меня сыпались пули. Я оглянулся: на крыше госпиталя на другой стороне улицы стояли двое немцев и стреляли в меня. Я сполз на чердак и, согнувшись, побежал к люку. Вслед мне полетели крики: Halt! Halt! Новые автоматные очереди прошли у меня над головой. Я успел соскочить на лестничную клетку, целый и невредимый.

Времени для размышления не оставалось: мое последнее убежище раскрыто. Нужно немедленно бежать. Я бросился вниз по лестнице, очутился на Сендзевской, пересек ее и притаился в руинах двухэтажных домиков в поселке Сташица. Вновь, уже в который раз, я попал в безвыходное положение. Бродил среди полностью выгоревших домов, где не было ни малейшего шанса найти ни воды, ни пищи, не говоря уже о том, чтобы здесь укрыться. Не сразу я заметил поодаль высокий дом, стоящий между проспектом Независимости и Сендзевской улицей. Это было, пожалуй, единственное место, где можно спрятаться. Я двинулся туда. При ближайшем рассмотрении оказалось, что средняя часть дома выгорела полностью, но оба крыла здания сохранились. В квартирах стояла мебель, в ваннах были запасы воды, сделанные еще во время восстания, а в некоторых кладовках сохранились остатки неразворованных припасов.

Я поселился, как и прежде, на чердаке. Крыша была почти целая, лишь кое-где зияли дыры от осколков. Здесь было намного теплее, чем на моем прежнем месте, но случись что пути для отступления не будет. Я не смогу даже броситься с крыши, чтобы не дать немцам живым. На последней лестничной площадке находилось окошко с витражом, сквозь которое я мог видеть, что творится снаружи. Несмотря на все преимущества, на новом месте мне было неуютно. Наверное, потому, что я привык к старому дому

Тем не менее выбора не было. Пришлось остаться здесь. Я спустился на площадку и стал смотреть в окно. Передо мной, как на ладони, лежал большой вымерший район сотни небольших сожженных коттеджей. Во многих палисадниках виднелись могилы убитых жителей. По улице Сендзевской колонной по четыре шли какие-то рабочие в гражданской одежде с лопатами на плечах. Военных с ними не было.

Охваченный внезапной тоской по человеческой речи и перевозбужденный недавним бегством, я решил, во что бы то ни стало, поговорить с этими людьми. Быстро сбегав по ступенькам вниз, вышел на улицу. Небольшой отряд уже успел отойти на некоторое расстояние. Я догнал их.

Вы поляки?

Они остановились и с удивлением разглядывали меня. Старший ответил:

Да.

Что вы тут делаете? Я волновался и говорил с трудом после четырех месяцев, проведенных в полном молчании, если не считать нескольких слов, сказанных немецкому солдату, от которого пришлось откупаться спиртом.

Будем копать укрепление. А вы, что вы тут делаете?

Прячусь.

Во взгляде сстаршего как будто мелькнуло сочувствие.

Пойдемте с нами, сказал он, у вас будет работа, вам дадут суп

Суп! От одной мысли о миске настоящего горячего супа я почувствовал голодные спазмы в желудке и уже готов был пойти за этими людьми, пусть бы меня потом застрелили. Только бы съесть суп и хотя бы раз поесть досыта. Но разум взял верх.

Нет, ответил я. К немцам не пойду.

Старший цинично и издевательски усмехнулся.

Э, не такие уж они плохие, немцы, заметил он.

Только тут я заметил то, что раньше ускользнуло от внимания. Со мной разговаривал только старший, в то время как остальные молчали. На руке у него была какая-то повязка с печатью, а в лице что-то от злого, подлого лакея. Говоря, он смотрел не в глаза, а куда-то выше моего правого плеча.

Нет! повторил я. Спасибо, я не пойду.

Как хотите! буркнул он.

Я повернулся. Когда отряд двинулся дальше, я бросил им вслед:

До свидания!

Движимый плохим предчувствием, а скорее, инстинктом самосохранения, обострившимся за годы жизни вне закона, я направился не к тому дому, где прятался, а к ближайшему коттеджу, делая вид, что обретаюсь здесь в подвале. Подойдя к выгоревшим дверям, я обернулся с порога еще раз отряд маршировал, но старший то и дело оборачивался, следя, куда я иду.

Когда они исчезли из вида, я вернулся на свой чердак, а точнее, на верхний полуэтаж и стал наблюдать за улицей. Не прошло и десяти минут, как этот гражданский с повязкой на рукаве вернулся в сопровождении двух жандармов. Он указал им на дом, куда я якобы пошел. Дом обыскали, а потом и несколько соседних. В мой дом они даже не заглянули. Может опасались, что наткнутся на отряд партизан, оставшихся в Варшаве. Многие люди уцелели во ходе войны благодаря трусости немцев, которые были смелы, лишь когда имели явное преимущество над противником.

Два дня спустя я снова отправился на поиски пищи. На этот раз мне хотелось сделать запас побольше, чтобы реже выходить из своего убежища. Пришлось искать днем, потому что я еще недостаточно изучил это место, чтобы шарить здесь ночью. Я попал на какую-то кухню, а из нее в кладовку. Там было несколько консервных банок, какие-то мешочки и сумки, содержимое которых следовало обязательно проверить. Я развязывал веревки, открывал крышки. И так увлекся, что вернул меня к действительности голос, прозвучавший за спиной:

Was suchen Sie hier?

Сзади стоял, опершись о кухонный буфет и сложив руки на груди, стройный и элегантный

немецкий офицер.

Что вы здесь ищете? повторил он. Вы что, не знаете, что в данный момент сюда въезжает штаб обороны Варшавы?..

18 НОКТЮРН ДОДИЕЗ МИНОР

Я опустился на стул в углу кладовки. Внезапно понял, окончательно и бесповоротно, что выбираться из этой очередной западни у меня уже нет сил. Силы покинули меня в одну секунду, как при обмороке. Я сидел, тупо уставившись на офицера и тяжело дыша. Лишь немного погодя сумел выдавить:

Делайте со мной что хотите, я не двинусь с места.

Я не собираюсь делать вам ничего плохого! Офицер пожал плечами. Вы кто?

Я пианист.

Он присмотрелся ко мне внимательнее, с явным недоверием, потом бросил взгляд в сторону двери, ведущей из кухни в комнаты, как бы соображая.

Идите за мной.

Мы миновали комнату, которая по всем признакам когда-то была столовой, и вошли в следующую, где у стены стоял рояль. Офицер указал на него рукой:

Сыграйте что-нибудь.

Видно, ему не пришло в голову, что звук фортепиано тут же привлечет находящихся поблизости эсэсовцев. Я вопросительно посмотрел на него, не двигаясь с места. Он понял мои страхи, потому что быстро сказал:

Играйте. Если кто-нибудь появится, спрячьтесь в кладовке, а я скажу, что играл, чтобы проверить инструмент.

Я опустил дрожащие пальцы на клавиши. На этот раз мне для разнообразия придется выкупать свою жизнь игрой на рояле. Два с половиной года я не упражнялся, мои пальцы огрубели, их покрывал толстый слой грязи, ногти не стрижены с того дня, как сгорел дом, где я прятался. В этой комнате не было стекол, как и в большинстве других квартир в городе, механизм рояля разбух от влаги, на клавиши приходилось нажимать с большим усилием.

Я начал играть ноктюрн до-диез минор Шопена. Стеклозвучающий звук расстроенного инструмента, ударяясь о пустые стены квартиры и лестничной клетки, тихим печальным эхом отражался от домов разрушенного квартала на противоположной стороне улицы. Когда я кончил, тишина, висевшая над целым городом, казалось, стала еще более глухой и зловещей.

Откуда-то донеслось мяуканье кошки, а снизу, с улицы послышались гортанные крики немцев. Офицер постоял молча, приглядываясь ко мне, потом вздохнул и сказал:

И все же вы не должны здесь оставаться. Я выведу вас за город, куда-нибудь в деревню. Там вы будете в безопасности.

Я покачал головой.

Мне нельзя выходить отсюда! сказал я с нажимом.

Казалось, лишь теперь он начал понимать, почему я прятался в руинах. Нервно дернувшись, спросил:

Вы еврей?

Да.

Он опустил сложенные на груди руки и сел в кресло рядом с роялем, словно желая обдумать ситуацию.

Да, в таком случае вам действительно нельзя отсюда выходить.

Подумав еще, он обратился ко мне с вопросом:

Где вы прячетесь?

На чердаке.

Покажите.

Мы поднялись по лестнице наверх. Он тщательно и профессионально обследовал чердак и обнаружил то, чего я до сих пор не замечал. Там было еще одно перекрытие, что-то вроде сбитой из досок антресоли прямо под коньком крыши над входом на чердак. Ее трудно было сразу заметить в царящем здесь полумраке. Он посоветовал мне спрятаться именно на этой антресоли и еще помог найти в одной из квартир лесенку. Взобравшись наверх, в свое убежище, я должен был втаскивать ее за собой.

Затем офицер спросил, есть ли у меня еда.

Нет, я как раз искал что поесть, когда вы пришли.

Ничего, ничего, пробормотал он поспешно, будто стыдясь всей этой ситуации, я принесу вам еду.

На это раз я осмелился задать вопрос он просто вырвался у меня:

Вы немец?

Он покраснел и чуть ли не крикнул запальчиво, будто я его обидел:

Да, к сожалению, я немец. Я хорошо знаю, что творилось здесь, в Польше, и мне стыдно за мой народ.

Резким жестом подал мне руку и вышел. Он появился снова только через три дня. Вечером, когда уже совершенно стемнело, снизу, с чердака, раздался шепот:

Эй, вы там?

Да, ответил я.

Что-то тяжелое упало рядом со мной. Я нащупал через бумагу несколько буханок хлеба и еще что-то мягкое, впоследствии оказавшееся завернутым в пергамент мармеладом. Отодвинув сверток, я быстро позвал:

Подождите минутку.

Голос из темноты ответил нетерпеливо:

Ну что? Давайте побыстрее. Часовой видел, что я сюда иду, мне нельзя задерживаться.

Где советские войска?

В районе Праги, на другой стороне Вислы. Держитесь. Осталось еще несколько недель. Самое позднее к весне война закончится.

Голос замолк. Я не знал, ушел офицер или нет. Но потом он заговорил снова:

Вы должны выжить! Слышите?! Голос звучал твердо, почти как приказ, словно офицер хотел вселить в меня веру в счастливое для нас окончание войны. После этих слов я услышал скрип закрывающейся двери.

Не знаю, сумел бы я тогда не сломаться и не покончить с собой, что я уже не раз собирался сделать, если бы не газеты, в которые немец завернул хлеб. Номера были свежие, и я постоянно их перечитывал, черпая силы в сообщениях о поражениях немецких войск, все быстрее отступавших на всех фронтах в глубь рейха.

Снова потянулись недели, бесконечные и однообразные. Артиллерию со стороны Вислы было слышно все реже. Бывали дни, когда тишину не нарушал ни единый звук выстрела.

Жизнь в штабе, разместившемся в крыльях здания, шла своим чередом. По лестницам сновали солдаты, они частенько заглядывали на чердак, принося и унося какие-то свертки, но мое убежище было выбрано очень удачно, ни одному из них и не пришло в голову заглянуть на антресоль. Перед домом со стороны проспекта Независимости без устали ходили часовые. И днем и ночью я слышал их притоптывание на морозе. Я выскальзывал из моего логова лишь с наступлением полной темноты, чтобы принести воды из разрушенных квартир, где оставались манны сводой.

12 декабря я виделся с офицером в последний раз. Он принес мне хлеба больше, чем в

прошлый раз, и еще пуховое одеяло, и сообщил, что его часть покидает Варшаву, но я не должен терять надежду, потому что уже в ближайшие дни русские начнут наступление.

На Варшаву?

Да.

И как мне выжить в уличных боях? тревожно спросил я.

Если и вы, и я пережили эти пять лет ада, ответил он, то, видимо, нам суждено остаться в живых. Надо в это верить.

Ему уже пора было идти, и мы стали прощаться. Эта мысль пришла мне в последний момент, когда я раздумывал, как его отблагодарить, поскольку он ни за что не хотел взять мои часы единственное богатство, которое я мог ему предложить.

Послушайте! Я взял его за руку и стал горячо убеждать:

Вы не знаете моего имени, вы о нем не спрашивали, но я бы хотел, чтобы вы его запомнили, ведь неизвестно, что будет дальше. Вам предстоит далекий путь домой, а я, если выживу, наверняка сразу начну работать, здесь же, на месте, на том же самом Польском радио, где работал до войны. Если с вами случится что-нибудь плохое, а я смогу чем-то помочь, запомните: Владислав Шпильман, Польское радио.

Он усмехнулся как обычно сурово и словно нерешительно, с некоторой неловкостью, но я почувствовал, что это, наивное в моем положении, желание помочь было ему приятно.

В середине декабря ударили первые крепкие морозы. Когда в ночь с 13 на 14 декабря я пошел за водой, то обнаружил, что все замерзло. В какой-то квартире на другой лестничной клетке я подобрал чайник и кастрюлю и, вернувшись на свой чердак, выдолбил из кастрюли кусочек льда и положил в рот. Но, полученная таким образом вода, не утоляла жажды. Мне пришла в голову другая мысль. Я укрылся пуховым одеялом и приложил кастрюлю со льдом к голому животу. Спустя какое-то время лед стал таять. В последующие дни я так добывал себе питьевую воду, пока мороз не ослаб настолько, что лед стал таять при температуре воздуха на чердаке.

Наступило Рождество и новый, 1945-й, год шестой раз за время войны. Это были самые тяжелые праздники из всех, что мне пришлось пережить, на грани всех моих сил. Я лежал в темноте, слушая, как ветер стучит кровельным железом и переворачивает обломки мебели в сожженных и разрушенных квартирах. Между порывами ветра доносился писк и шуршание мышей и крыс, бегавших по чердаку. Иногда они залезали ко мне на одеяло, а когда я спал, то и на лицо, царапая его на бегу своими острыми коготками.

Я вспоминал прошлые праздники, довоенные, а потом и военные: тогда у меня был дом, родители, брат и сестры. Потом у нас уже не было дома, но мы были вместе. Потом я остался без родных, но вокруг были люди. Сейчас я был так одинок, как, пожалуй, никто на земле. Когда Дефо создавал идеальный образ отшельника Робинзона Крузо, он все же оставил ему надежду на встречу с людьми, и одна только мысль о возможности близкой встречи поддерживала его и утешала. А мне от людей когда они приближались ко мне приходилось прятаться под угрозой смерти. Чтобы выжить, я должен был оставаться один, совершенно один.

Утром 14 января меня разбудило необычное оживление в доме и на улице. Подъезжали и отъезжали автомобили, по лестницам бегали военные, слышались нервные, возбужденные голоса, из дома все время что-то выносили и, кажется, складывали на грузовики. В ту же ночь со стороны молчавшего до сих пор фронта на Висле послышался грохот орудий. До района, где я находился, снаряды не долетали. От постоянного глухого гула дрожала земля, вибрировали стены дома и железо на крыше, сыпалась штукатурка. Вероятно, это работали знаменитые реактивные минометы катюши, о которых так много говорили еще до восстания. От радости и волнения я позволил себе безумный поступок, в моем положении непростительный: выпил

целую кастрюлю воды.

Через три часа ураганный артиллерийский огонь прекратился, но я по-прежнему пребывал в состоянии крайней эйфории. Ночью не сомкнул глаз. Если немцы решили не оставлять развалины Варшавы, вот-вот начнутся уличные бои, и тогда я могу погибнуть, что явится последней, завершающей фермой моих страданий.

Но ночь прошла спокойно. Около часа ночи я услышал, как последние немцы собираются на улице и уходят. Наступила тишина, такая глубокая, какой не было все три последних месяца, когда город словно вымер. Больше не слышно шагов часовых перед домом. Не слышно грохота орудий. Я потерял представление о том, что происходит. Где же теперь фронт?

И только на рассвете следующего дня тишину прорвали самые неожиданные звуки. Установленные где-то совсем рядом громкоговорители передавали сообщение о поражении немцев и о том, что армия Жимерского вместе с Красной Армией освободили Варшаву.

Значит, немцы ушли без боя.

Когда окончательно рассвело, я начал лихорадочно готовиться к выходу на улицу. Я уже надевал шинель, которую мне дал офицер, чтобы я мог в ней ходить за водой, как вдруг снова раздались мерные шаги часовых перед домом. Неужели, польские и советские войска отошли? В полном отчаянии я повалился назад в свою берлогу. Подняться меня заставили новые звуки, которых здесь не было слышно уже много месяцев: женские и детские голоса, спокойно беседующие, безмятежные, словно дети с мамами просто шли на прогулку.

Неопределенность ситуации стала уже невыносимой, и я решил во что бы то ни стало выяснить, что происходит. Быстро сбегав вниз по лестнице моего, всеми покинутого дома, я из парадного выглянул на проспект Независимости. Было серое, туманное утро. Слева, не очень далеко от меня, стоял солдат в мундире, чьем трудно понять на расстоянии. Справа в мою сторону шла какая-то женщина с котомкой за плечами. Когда она приблизилась, я решился заговорить с ней.

Будьте добры, попытался я позвать ее вполголоса. Она посмотрела на меня и с громким криком: Немец! бросилась бежать. Тут меня заметил солдат и не долго думая пустил в мою сторону автоматную очередь. Пули рассыпались по стене рядом со мной. В лицо ударило крошкой разлетающейся штукатурки. Не мешкая, я взбежал по лестнице наверх и спрятался. Через несколько минут, выглянув в окошко на улицу, я увидел, что весь дом окружен. До меня долетали голоса солдат, обыскивающих подвалы, выстрелы и разрывы ручных гранат.

Мое положение становилось совершенно абсурдным. После всего пережитого, на пороге свободы быть по недоразумению убитым польскими солдатами в освобожденной Варшаве! Я стал соображать, как дать им понять, что я поляк, прежде чем они успеют меня подстрелить. Они явно были уверены, что здесь прячется немец. Тем временем к дому подтянулся еще один отряд солдат, на этот раз в синих мундирах позже я узнал, что это была часть, охранявшая железную дорогу и случайно проходившая мимо. Значит, на меня охотилось уже два отряда вооруженных людей.

Я стал медленно спускаться вниз, крича изо всех сил:

Не стреляйте! Я поляк!

Послышались шаги кто-то быстро бежал вверх по лестнице.

Из-за перил вынырнула фигура молодого офицера в польском мундире, с орлом на конфедератке. Он направил на меня пистолет и крикнул:

Hande hoch!

Я повторил:

Не стреляйте! Я поляк!

Поручик даже покраснел от злости.

Так какого черта вы не слезаете вниз?! заорал он. Какого черта шляетесь здесь в немецкой шинели?!

Только обыскав меня, а потом и присмотревшись повнимательнее, мне поверили, что я не немец, и решили взять меня с собой в казарму. Там можно было помыться и наесться, пока я не пойму, как быть дальше.

Но я не мог вот так просто уйти от них. Я дал себе зарок, что непременно обниму первого поляка, которого встречу, когда придет конец немецкой, оккупации. Я должен был так сделать. Но это оказалось непросто. Поручик долго отнекивался, приводя все мыслимые аргументы, кроме одного-единственного, о котором он не упомянул из деликатности. Только когда я его наконец поцеловал, он достал карманное зеркальце, поднес к моему лицу и сказал со смехом:

Вот, взгляните на себя и оцените мой патриотизм!

Спустя две недели, вымытый, отдохнувший и отъевшийся в воинской части, я, впервые за последние шесть лет без страха, свободным человеком шагал по улицам Варшавы. Я шел на восток, в сторону Вислы, чтобы попасть на Прагу когда-то далекое и небогатое предместье, теперь же это была вся Варшава, поскольку остальную ее часть немцы стерли с лица земли.

Я шел по середине широкой, некогда оживленной городской магистрали, сейчас я был здесь единственным пешеходом. Далеко, насколько видел глаз, не было на ней ни одного целого дома. На каждом шагу приходилось обходить или перелезть через завалы, я карабкался на них, как на скальные осыпи. Ноги путались в оборванных телефонных и трамвайных проводах, в клочьях тряпок, которые раньше, возможно, украшали чьи-то квартиры или их надевали на себя люди, теперь уже покойные.

Около одного дома, рядом с баррикадами повстанцев, лежал непогребенный человеческий скелет, небольшой, с мелкими костями, явно принадлежавший девушке на черепе еще сохранились длинные светлые волосы, труднее всего поддающиеся разложению. Рядом со скелетом валялся поржавевший автомат, на костях правого предплечья среди лохмотьев одежды виднелась бело-красная повязка с поблекшей надписью АК.

От моих сестер, красавицы Регины и полной юной серьезности Гали, не осталось и этого, и я никогда не найду могилы, на которой мог бы молиться за упокой их душ.

Я остановился передохнуть и посмотрел вдаль: от северной части города, где когда-то находилось гетто и где уничтожили полмиллиона евреев, не осталось ничего. Даже стены сожженных домов были повержены на землю немцам под ноги.

С завтрашнего дня я должен начать новую жизнь. Как жить, если за тобой только смерть? Как из смерти черпать силы для жизни?

Я двинулся вперед. Порывистый ветер грохотал каким-то железом в руинах, свистел и выл в глазницах выжженных окон. Наступали сумерки. С тяжелого темнеющего неба сыпал снег.

Через две недели один из моих коллег с Радио, скрипач и участник восстания Зигмунт Ледницкий, возвращался после военных скитаний в Варшаву. Шел, как и многие другие, пешком, лишь бы поскорее добраться до своего города. По дороге им встретился временный лагерь для немецких военнопленных. Они лежали вповалку за колючей проволокой, так же как несколько месяцев назад лежали за проволокой все уцелевшие жители Варшавы: мужчины, женщины и малые дети.

Описывая мне, что произошло потом, Ледницкий признавался, что не должен был этого делать, но он просто не смог сдержать свой порыв. Подойдя к ограде, он обратился к немцам: Вы заявляли, что вы цивилизованный народ, а у меня, артиста, отобрали все, что у меня было, мою скрипку. Какой-то офицер с трудом поднялся со своего места и шатаясь подошел к проволоке. Он был худой, заросший и оборванный. Вперив в Ледницкого взгляд, полный отчаяния, он сказал:

Может, вы знаете Шпильмана?

Конечно знаю!

Я немецкий офицер, зашептал он лихорадочно. Я помог Шпильману, когда он прятался на чердаке штаба обороны Варшавы. Передайте ему, что я здесь. Пусть меня спасет, умоляю вас

В этот момент подошел охранник.

С заключенными разговаривать запрещается. Отойдите!

Ледницкий отошел. Но тут же сообразил, что не знает фамилии этого немца. Он вернулся обратно к ограждению, но охранник уже отвел офицера довольно далеко.

Как вас зовут? Ваша фамилия?!

Немец обернулся, что-то прокричал, но Ледницкий не понял.

Я тоже не знал, как его звали. И не хотел знать из соображений простой осторожности. Если бы меня схватили и под жестокими пытками, которые были для немецкой полиции обычной практикой, потребовали сказать, кто принес мне хлеб, я мог бы его выдать.

Я сделал все, что в моих силах, но так и не вышел на его след. Лагерь военнопленных перевели в другое место. А куда узнать не удалось. Это была военная тайна. Но может, все же этот немецкий офицер единственный человек в немецком мундире из всех, кого мне довелось встретить, в конце концов благополучно вернулся домой?

Иногда мне случается выступать с концертами в доме 8 по улице Нарбута в Варшаве, где в 1942 году я таскал известь и кирпичи; здесь работала бригада из гетто, которую расстреляли сразу же, как только квартиры для офицеров гестапо были готовы. Но и офицеры не долго радовались своим прекрасным квартирам. Сегодня в этом доме, который сохранился, помещается школа. Я иногда выступаю там перед детьми, и не подозревающими о том, сколько страданий и смертельного страха мне пришлось пережить в этих солнечных школьных классах.

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКА КАПИТАНА ВИЛЬМА ХОЗЕНФЕЛЬДА

18 января 1942 года

Национал-социалистическая революция во всем отличается половинчатостью. История говорит о жестокости и чудовищной бесчеловечности Великой французской революции. Во время большевистского переворота животные инстинкты переполненных ненавистью полулюдей стали причиной страшных преступлений против правящих классов общества. Несмотря на осуждение и чувство жалости, трудно отказать этим действиям в решительности и твердости. Безо всяких переговоров, иллюзий или компромиссов эти бунтовщики, стремясь к своей цели, в каждом своем поступке шли ва-банк, невзирая на мораль, голос совести или свое происхождение. И якобинцы, и большевики вырезали представителей правящего класса и казнили монаршие семьи. Они порвали с христианством и вели против католической религии войну на уничтожение. Они сумели втянуть свои народы в войны, которые велись ими с увлеченностью и размахом, тогда это были революционные войны, теперь такую же войну начали немцы. Теории и идеи этих подрывных элементов имели огромное влияние, далеко выходящее за границы своих стран.

Методы нацистов другие, но в их основе лежит тот же самый принцип: убийство и уничтожение инакомыслящих. Иногда расстреливают и своих, но это замалчивается и скрывается от общественного мнения. Людей заключают в концентрационные лагеря, где ведется их планомерное уничтожение. Общество ни о чем не догадывается. Раз уж организуется охота на врагов государства, то нужно иметь мужество публично их обличить и отдать на суд общества.

С одной стороны, национал-социалисты связаны с финансовыми и промышленными кругами правящего класса и поддерживают принципы капитализма, а с другой провозглашают социализм. Провозглашается право личности на свободное развитие и свобода совести, и в то же время уничтожаются христианские церкви, с ними ведется тайная война. Говорится о праве на свободный выбор занятий, тогда как все зависит от партийной принадлежности. Самый способный и гениальный получает отставку, если он вне партии. Гитлер предлагает миру мир, вооружаясь при этом до зубов. Он заявляет во всеулышание, что не угрожает другим народам и не намерен лишать их права на самоопределение, но что же он делает с чехами, поляками и сербами? В Польше не было никакой необходимости в том, чтобы народ на собственной земле лишал государственности.

Давайте посмотрим, в какой мере национал-социалисты следуют тем принципам, которые провозглашают. Например: Общее благо выше личного. Они требуют этого от серого обывателя, а сами и не думают так жить. Кто сражается с врагом? Народ, а не партия. На службу в армию тащат даже инвалидов, а в партийных комитетах и полиции, подалеке от фронта, сидят здоровые и сильные молодые люди. Почему их берегут?

Сейчас изымают и присваивают имущество поляков и евреев. Те голодают, страдают от нищеты и холода. Это никому не мешает забирать все себе.

Варшава 17 апреля 1942 года

Моя жизнь течет здесь спокойно, день за днем, в основном в спортивной школе. И хотя я не имею никакого отношения к военным действиям, все равно я несчастлив. Время от времени до меня доходят разные слухи. Главным образом то, что происходит в тылу, экзекуции, происшествия и т.д. В Лодзи расстреляли сто человек, ни в чем не повинных, только за то, что бандиты ранили трех полицейских; в Варшаве то же самое. Но население реагирует на это не страхом и ужасом, а ожесточением, злобой и все возрастающим фанатизмом. На Пражском мосту двое из гитлер-югенда пристали к поляку. Когда тот начал защищаться, они позвали на помощь полицейского. Поляк застрелил всех троих. На Почтовой площади большой армейский грузовик раздавил рикшу и в ней троих человек тот, кто ею управлял, тоже погиб на месте. Водитель грузовика и не подумал остановиться, продолжая волочить за собой рикшу, в которой еще находился человек. Сбежался народ, но автомобиль все ехал и ехал дальше. Какой-то немец пытался его остановить, рикша застряла между колес, и тогда грузовик был вынужден затормозить. Шофер вышел, убрал рикшу и поехал дальше.

В Закопане поляки не хотели отдавать лыжи, их дома обыскали и двести сорок мужчин отправили в Освенцим концентрационный лагерь на востоке, внушающий всем ужас. Гестапо замучивает там людей до смерти. Чтобы сократить процедуру, несчастных загоняют в газовые камеры, и там они погибают. Во время допросов их зверски избивают. Существуют специальные камеры пыток, где, например, жертву привязывают к столбу за руки и предплечья, подтягивают столб кверху, и человек висит так до потери сознания. Или жертву втискивают в ящик, где она может находиться, только согнувшись в три погибели, и держат там до тех пор, пока человек не сходит с ума. О каких еще варварских изобретениях мы узнаем, сколько еще невинных людей сидит в тюрьмах? С каждым днем все больше ощущается недостаток продовольствия. В Варшаве постепенно начинается голод.

Томашов 26 июня 1942 года

Из католического костела доносится звук органа и пение, вхожу внутрь, перед алтарем в белых одеяниях стоят дети к первому причастию. В костеле много народу, поют *Tantum ergo*, ксёндз всех благословляет, в том числе и меня. Стоят невинные малые дети, здесь, в польском городе, и там, в немецком, или в другой стране, и все молятся Богу, а через несколько лет, ослепленные ненавистью, пойдут воевать и будут убивать друг друга.

И в далеком прошлом, когда народы были теснее связаны с христианством, а своих владык называли помазанниками Божиими, все было точно так же, как сегодня, когда очевиден отход от христианства. Мне кажется, человек обречен делать больше зла, чем добра. Любовь к ближнему это высочайший идеал на земле.

Варшава 23 июля 1942 года

Когда читаешь газеты и слушаешь радио, кажется, что все в порядке, мир обеспечен, война выиграна, а будущее немецкого народа не вызывает сомнений. Но я не верю в это и не могу верить просто потому, что беззаконие не может воцариться навечно и немецкие методы господства в поработанных странах рано или поздно должны вызвать сопротивление. Я знаком лишь с положением в Польше, и то лишь частично, поскольку информации мы получаем меньше всего. Но из множества наблюдений, разговоров, сообщений, которые ежедневно доходят до нас, картина складывается ясная. Методы администрирования и управления, шантаж в отношении

населения, действия гестапо все это отличается здесь особой жестокостью, несомненно, то же самое творится и в других захваченных странах.

Везде царит террор, запугивание и насилие. Аресты, депортации и даже расстрелы стали обычной практикой. Жизнь и личная свобода людей не стоят ничего. Но стремление к свободе это врожденный инстинкт, присущий каждому человеку и каждому народу, его невозможно подавить надолго. История показывает, что тирания недолговечна. На нашей совести и чудовищные беззакония в отношении евреев, и их уничтожение. Немецкая гражданская администрация, полиция и гестапо с самого начала оккупации восточных земель поставили своей целью ликвидацию евреев, которая идет полным ходом, и скоро, очевидно, еврейский вопрос будет решен радикально.

Имеются достоверные сведения, что уничтожено гетто в Люблине, евреев выгнали, большинство убили в ближайшем лесу и лишь небольшую часть отправили в лагерь. О Лодзи и Кутно рассказывают, что там евреев мужчин, женщин и детей умерщвляют выхлопными газами в грузовиках, превращенных в газовые камеры, трупы раздевают и хоронят во рвах, а одежду посылают на фабрики в целях ее дальнейшего использования. Разыгрываются ужасные сцены. Сейчас таким же способом уничтожают варшавское гетто, насчитывающее четыреста тысяч человек. Вместо немецкой полиции туда посылают украинские и литовские батальоны. Во все это невозможно поверить. Я не хочу в это верить, и не из-за тревоги за будущее нашего народа, которому когда-нибудь все же придется заплатить за это варварство, но потому, что не могу поверить, что Гитлеру это нужно, что есть немцы, которые отдадут такие приказы. Существует только одно объяснение: это больные люди, сумасшедшие.

25 июля 1942 года

Если правда то, что говорят в городе надежные люди, то быть немецким офицером невелика честь, и уже невозможно участвовать во всем этом. Просто не могу поверить. На этой неделе из гетто вывезли уже тридцать тысяч евреев, куда-то на восток. Что с ними делают, уже известно, несмотря на попытки сохранить все в строгой тайне. Где-то близ Люблина построены помещения, оборудованные электрическими печами по образцу крематориев. Несчастных загоняют в эти печи и сжигают живьем. В день таким образом умерщвляют тысячи людей. При этом экономятся боеприпасы и не нужно тратить время на рытье и закапывание рвов с трупами. Ни гильотина французской революции, ни методы, используемые в подвалах русского ГПУ, не могут сравниться с немецкой виртуозностью в деле массового уничтожения людей. Но ведь это безумие, это не может быть правдой. Задаешь себе вопрос почему евреи не защищаются? Но многие из них большинство так измучены голодом и нищетой, что не способны ни к какому сопротивлению.

Варшава 13 августа 1942 года

Польский торговец из Познани, выселенный оттуда в начале войны, открыл в Варшаве магазин. Я часто покупаю у него овощи и фрукты. Во время Первой мировой войны он четыре года служил на Западном фронте в мундире немецкого солдата. Показывал мне свой военный билет. Он очень симпатизирует немцам, но он поляк и поляком останется. Он в отчаянии от чудовищных зверств немцев в гетто. Спрашиваю себя: откуда в нашем народе столько накипи? Это что, преступники, выпущенные из тюрем, и больные из сумасшедших домов? Нет. Все дело в

том воспитании, которое они получили, и виноваты в этом те, кто занимает высокие посты в государстве. В другой ситуации эти люди были бы не опасны. Внутри человека много зла и животных инстинктов. Все это выходит наружу, если не встречает на своем пути препятствий. Да, нужно иметь самые низменные инстинкты, чтобы убивать и уничтожать евреев и поляков.

Торговец, о котором я упоминал, поддерживает деловые связи с евреями в гетто и часто там бывает. По его словам, видеть то, что там происходит, невыносимо. Каждый раз, когда ему приходится туда идти, он испытывает ужас. Он ездит в гетто на рикше и однажды видел, как какой-то гестаповец собрал евреев в подворотне и начал стрелять в них. Десять человек убил на месте. Один попытался бежать, гестаповец приставил к его голове пистолет, но магазин был уже пустой. Раненым никто не помогал, врачей уже вывезли или убили, а кроме того, ведь эти люди все равно должны были умереть.

Какая-то женщина рассказывала моему собеседнику, как несколько гестаповцев вошли в еврейский родильный дом, забрали оттуда новорожденных, сунули в сумку и вышли, а на улице бросили их на подводу с трупами. Плач маленьких детей и душераздирающие крики матерей не произвели на мерзавцев никакого впечатления. В это трудно поверить, но это правда. Двое таких ехали вчера со мной в трамвае, в руках у них были нагайки эти скоты только что вышли из гетто. Больше всего на свете мне хотелось столкнуть их под трамвай. Какие же мы трусы, если молчим, когда такое творится. Вот почему кара за это падет и на нас, и на наших невинных детей, потому что, допуская такие преступления, мы становимся их соучастниками.

После 21 августа 1942 года

Самое большое зло на свете это ложь. Она порождает все дьявольское. Как же морочат нас и все общественное мнение. Нет газеты, которая бы не лгала. Что ни возьми политику, экономику, историю, социальную или культурную сферу, везде попирается, фальсифицируется, уродуется и перевирается правда. Сколько можно? Этому должен прийти конец! Клянусь свободой человеческого духа и свободой личности! Лжецы и фальсификаторы должны исчезнуть и потерять свою диктаторскую власть, чтобы освободить место для благородной человечности.

1 сентября 1942 года

Как была развязана эта война? Людям следовало бы раз и навсегда понять, до чего их довело безбожие. Сначала большевики убили миллионы людей, чтобы установить новый мировой порядок. Это стало возможно только потому, что они отвернулись от Бога и христианского учения, и в Германии творится то же самое. Запрещают участвовать в церковной жизни, воспитывают молодежь без веры, ведут войну против Церкви, присваивают ее имущество, борются с инакомыслящими. Национал-социалисты ограничивают свободы своих сограждан, низводя их до положения рабов, запуганных и лишенных собственной воли. Правду от них скрывают. Забыты заповеди: не укради, не убий, не лги. Все это: стремление к наживе, незаконное обогащение, ненависть, обман, сексуальная распущенность, за которой следует бесплодие и деградация народа, начинается с отказа от Божьих заповедей. Бог все это допускает, не препятствует этим силам пользоваться властью и уничтожать множество невинных людей, наверное, только для того, чтобы человечество осознало: без меня вы превращаетесь в зверей, которые во всем мешают друг другу и стремятся друг друга уничтожить. Не хотите помнить

Божью заповедь возлюби ближнего своего? Хорошо. Испытайте на себе противоположный совет дьявола: ненавидьте ближнего. Священное Писание рассказывает об истории потопа. Что было причиной этой трагедии на заре человечества? Люди отвернулись от Бога, и им пришлось умереть. Виновным и невиновным. Причина их осуждения в них самих. То же самое и сегодня.

6 сентября 1942 года

Старший в группе фехтовальщиков, принимавших участие в соревнованиях, рассказал о зверствах отряда специального назначения в небольшом районном центре городке Сельце. Он был так возмущен и зол, что забыл, что мы не одни, среди прочих при разговоре присутствовал высокий чин гестапо. Евреев выдворили из гетто и повели через весь город детей, женщин и мужчин. Часть из них застрелили прямо на улице, на глазах у всех жителей поляков и немцев. Раненных женщин оставляли извиваться в лужах крови, на жаре. Тех детей, кто пытался спрятаться, выбрасывали из окон. Тысячи людей согнали на площадь возле железнодорожного вокзала, где будто бы их уже ждали поезда. Людей оставили там на три дня на солнцепеке, без еды и питья. Каждого, кто пробовал встать, тут же расстреливали всё на глазах местных жителей. Потом их вывезли неизвестно куда, в вагонах для скота, по двести человек в каждом, несмотря на то что в таком вагоне помещается от силы сорок два человека. Что с ними стало? Никто не знает. Но все тайное становится явным. Иногда кому-то удается бежать, и тогда преступления выходят наружу. Городок называется Треблинка, на востоке генерал-губернаторства. Там вагоны разгружают, многие люди уже мертвы, площадь, где это происходит, окружена стеной. Умерших укладывают штабелями рядом с рельсами, здоровых мужчин из вновь прибывших заставляют убирать эти горы трупов, копать ров и засыпать землей. После этого их расстреливают. Приезжает новый транспорт и убирает останки своих предшественников. Тысячи женщин и детей заставляют раздеваться, гонят в передвижную установку и там умерщвляют газом. Установка подъезжает ко рву, и там, при помощи механизма, поднимающего боковую стену и наклоняющего дно, тела сбрасываются вниз. Это делается уже давно. Несчастных свозят сюда из всех областей Польши, часть убивают на месте, поскольку возможности транспортировки ограничены. Ужасная вонь разносится по всей округе.

Моему собеседнику рассказал об этом еврей, которому удалось с семерыми товарищами оттуда бежать. Теперь он прячется в Варшаве. Кажется, таких людей здесь довольно много. Этот человек показал банкнот в двадцать злотых, который вытащил у какого-то покойника из кармана. Он свернул деньги так, чтобы трупный запах не выветривался и напоминал ему о том, что он должен отомстить за своих братьев.

Воскресенье, 14 февраля 1943 года

В воскресенье, когда я не занят по службе и имею возможность задуматься над своими проблемами, мне в голову приходят мысли, которые обычно таятся в подсознании. Это страх за будущее и вместе с тем взгляд в прошлое, на события этой войны кажется непонятным, как мы могли совершить столь чудовищные преступления против безоружного гражданского населения, против евреев. Я все время задаю себе вопрос: Как это могло случиться? Есть только одно объяснение. Люди, которые могли пойти на то, чтобы отдать такие приказы, полностью утратили чувство моральной ответственности, полностью отошли от Бога, погрязли в эгоизме и самом низменном материализме. Когда в прошлом году совершались те ужасные убийства

евреев, резня, жертвой которой стали женщины и дети, я уже точно знал, что войну мы проиграем, потому что она в ту же минуту утратила смысл как борьба за жизненное пространство и выродилась в разнузданное, бесчеловечное, варварское уничтожение людей, которое невозможно оправдать в глазах немецкого народа и которое будет сурово осуждено мировым сообществом. Не может быть никакого оправдания ни пыткам замученных в тюрьмах поляков, ни расстрелам и зверской жестокости в отношении военнопленных.

16 июня 1943 года

Ко мне сегодня пришел один молодой человек, я был знаком с его отцом в Оберзиге. Молодой человек работает здесь в военном госпитале. Он стал свидетелем того, как трое немецких полицейских застрелили какого-то штатского. Они потребовали предъявить документы и увидели, что он еврей, завели его в подворотню и застрелили. Пальто забрали, а тело оставили лежать.

Другой свидетель, еврей, рассказывает: Мы уже семь дней сидели в подвале одного из домов в гетто, дом над нами горел. Женщины вышли наружу, а потом и мы, мужчины. Несколько человек застрелили, мой брат принял яд. Остальных увезли на Umschlagplatz, погрузили в вагоны для скота и отправили в Треблинку. Женщин там сожгли сразу, а меня отправили на работы, обращались с нами ужасно. Нам ничего не давали есть и заставляли тяжело работать. Я писал друзьям: пришлите мне яду, я этого не выдержу, многие умирают.

Пани Жайт в течение года прислуживала в резиденции службы безопасности и часто бывала свидетелем жутких издевательств над работавшими там евреями. Их ужасно били. Одного из них на целый день поставили стоять на груде кокса голым в сильный мороз. Какой-то гестаповец проходил мимо и застрелил его. Многих евреев так убили походя, ни за что.

Теперь уничтожены последние обитатели гетто. Один эсэсовец хвастался, что стрелял в евреев, выскакивавших из горящих домов. Все гетто это сплошные руины и пожарища.

И так мы хотим выиграть эту войну, звери! Этим массовым уничтожением евреев мы войну окончательно проиграли. Мы покрыли себя несмываемым позором и будем навечно прокляты. Мы не заслуживаем снисхождения. Мы все виновны.

Мне стыдно выходить на улицу. Каждый поляк имеет право плюнуть нам в лицо. Ежедневно кто-то стреляет в немецких солдат. Дальше будет только хуже, и мы не имеем права жаловаться, потому что иного не заслужили. С каждым днем мне здесь все больше не по себе.

6 июля 1943 года

Почему Господь не предотвратил эту беспощадную войну с ее чудовищными жертвами?

Я имею в виду вселяющие ужас воздушные налеты, страх невинного гражданского населения, нечеловеческое обращение с узниками концентрационных лагерей, уничтожение сотен тысяч евреев.

Виноват ли Бог? Почему он не вмешивается? Почему попускает? Это вопросы, которые можно задавать, но на них нет ответа. Мы охотно ищем вину где угодно, но только не в себе. Бог дает свершиться злу, потому что люди сами его избирают, а потом страдают из-за своей греховности и зла. Мы ничего не сделали, чтобы помешать нацистам прийти к власти, предали свои идеалы, идеалы свободы личности, свободы вероисповедания и демократии.

Рабочие это поддерживали, церковь выжидала, горожане были слишком трусливы, так же

как и высшие слои духовенства. Мы позволяли громить профсоюзы, преследовать религиозные меньшинства, ликвидировать свободу слова в печати и на радио. Позднее мы дали втянуть себя в войну. Нам нравилось, что у немцев нет парламента, или нас устраивал такой парламент, которому нечего сказать. Нельзя безнаказанно предавать идеалы, и теперь всем нам предстоит пожать то, что мы посеяли.

5 декабря 1943 года

Целый год мы терпим одно поражение за другим. Сейчас бои идут у Днепра, мы потеряли всю Украину. Даже если бы нам удалось сохранить остальное, об экономической эксплуатации уже не может быть и речи. Русские так сильны, что все дальше выдавливают нас со своей территории. В Италии англичане начали контрнаступление. Мы теряем там одну позицию за другой. Один за другим уничтожаются немецкие города. Сейчас подошла очередь Берлина, а со второго декабря бомбы падают на Лейпциг. Подводные лодки совершенно не оправдали ожиданий. На что же мы еще рассчитываем, беспрестанно говоря о победе. Наши союзники Болгария, Румыния и Венгрия в состоянии оказать нам лишь локальную помощь. Хорошо, если им удастся справиться с внутренними проблемами и подготовиться к защите своих границ от атаки врага. Они оказывают нам только экономическую помощь, например Румыния поставками нефти. Их военная помощь не имеет существенного значения. С момента фашистского переворота Италия оказалась полезна нам лишь в том смысле, что военные действия идут там, а не на территории рейха.

Мы бессильны перед превосходящими силами противника. Последние упрямы все равно обречены. Так обстоят дела уже сейчас, так как же мы можем тешить себя надеждой, что нам удастся перетянуть чашу весов на свою сторону?

В Германии уже никто не верит, что мы выиграем войну. И что делать в такой ситуации, не знает никто. В нашей стране до переворота дело не дойдет, потому что ни у кого нет мужества рискнуть своей головой и выступить против гестапо. Единичные попытки отдельных людей ничего не меняют. Массы, возможно, их бы и поддержали, но у всех связаны руки. Уже более десяти лет для большинства населения личной свободы не существует, за этим следит гестапо. От армии тоже нельзя ждать переворота. Она слишком охотно дает вести себя к гибели. Здесь любая надежда на сопротивление, которое могло бы принять массовый характер, быстро гаснет. Значит, придется идти до конца, и конца печального. За все зло и все убийства, которые мы совершили, за все несчастья, которые мы принесли, теперь будет расплачиваться весь народ. Неизбежно придется пожертвовать невинными, чтобы заслужить прощение за кровавые преступления. Таков неизменный закон.

1 января 1944 года

Немецкие газеты возмущаются тем, что американцы вывозят из Южной Италии произведения искусства. Такую реакцию на преступления других можно назвать поистине наивной, если принять во внимание, какие культурные богатства мы вывезли из Польши и уничтожили в России.

Тот кто сейчас защищает тезис: Отчизна плохая или хорошая, но моя, даже не пытаюсь над чем-то задуматься, тот погряз во лжи и делает из нас посмешище.

Кажется, фюрер приказал стереть Варшаву с лица земли, что уже делается. Множество улиц уничтожается огнем. Жителям предписано покинуть город, и многочисленные толпы людей тянутся на запад. Если такой приказ Гитлера действительно существует, то для меня становится очевидным, что мы сдаем Варшаву, Польшу и проигрываем войну. Мы бросаем все то, что удерживали пять лет, и о чем перед всем миром трубили как о нашем военном завоевании. Мы потратили огромные средства, здесь вели себя как хозяева, которые пришли навсегда. Теперь нам приходится признать, что все потеряно, и уничтожать плоды своих трудов все, чем так гордилась гражданская администрация, ставившая здесь перед собой серьезные задачи в сфере культуры, и чем пыталась оправдать свое существование в глазах всего мира. Это банкротство нашей восточной политики. Разрушая Варшаву, мы ставим на этой политике крест.

Данная книга была скачана с сайта Librs.net.

notes

Имеется в виду Ю.Пилсудский (Ред.).

Шантажисты или вымогатели (*примеч. перев.*)